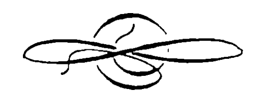
Николай Раевский



ЕСЛИ ЗАГОВОРЯТ ПОРТРЕТЫ

Николай Раевский

ЕСЛИ ЗАГОВОРЯТ ПОРТРЕТЫ



ИЗДАТЕЛЬСТВО «ЖАЗУШЫ»
Алма-Ата — 1965

8Р1
Р16

Николай Алексеевич Раевский был студентом естественного факультета Петербургского университета, когда началась первая мировая война.

Долгие годы Н. А. Раевский, живя в Праге, собирает материалы об Александре Сергеевиче Пушкине. Он ищет их по заграничным архивам знакомых и родственников поэта, а вернувшись на родину, создает серию рассказов, в которых, с одной стороны, под пером талантливого автора ожила пушкинская эпоха, с другой — тридцатые-сороковые годы нашего века, когда автор особенно активно занимался поисками материалов о Пушкине.

«Если заговорят портреты» — не сухое научное исследование, а увлекательное повествование о любопытных находках пушкиниста.

Чем лучше мы знаем жизнь Пушкина, тем глубже и точнее понимаем смысл его творений. Вот главная причина, которая уже в течение нескольких поколений побуждает исследователей со всей тщательностью изучать биографию поэта. Не праздное любопытство, не желание умножить число анекдотических рассказов о Пушкине заставляет их обращать внимание и на такие факты, которые могут показаться малозначительными, ненужными, а иногда даже обидными для его памяти.

В жизни Пушкина малозначительного нет. Мелкая подробность позволяет порой по-новому понять и оценить всем известный стих или строчку пушкинской прозы. Нет ничего оскорбительного для памяти поэта в том, что мы хотим знать живого, подлинного Пушкина, хотим видеть его человеческий облик со всем, что было в нем — и прекрасного, и грешного. В этом отношении можно согласиться с Вересаевым, который сказал, что неудобно изучать жизнь великого человека, стоя на коленях.

Дорогой всем нам вечный образ становится еще ближе и дороже, когда мы вплотную подходим к поэту и пытливо вглядываемся в его человеческие черты.

Этими мыслями я руководился и при своих работах по Пушкину.

В настоящее время архивы СССР в отношении пушкинологических материалов изучены очень тщательно, но

находки отдельных текстов поэта и материалов о нем продолжаются и, несомненно, будут продолжаться. Значение Пушкина так велико, следы, которые он оставил в памяти современников, так глубоки, что фонд пушкинских материалов почти что неисчерпаем.

Широкую известность приобрела, например, недавно «Тагильская находка» — сборник писем членов семьи историка Карамзина к его сыну Андрею Николаевичу, в которых содержатся ценнейшие сведения о дуэли и смерти Пушкина.

Совершенно иначе обстоит дело в отношении пушкинских материалов за границей.

Есть, во-первых, категория архивов, о которых пока можно лишь сказать, что когда-то они существовали и, вероятно, содержали немало ценного. Пушкинисты насчитывают пять-шесть таких собраний. Наряду с этими затерявшимися источниками есть и архивы известные, но по разным причинам недоступные. Наконец третью группу составляют хранилища, полностью или частично доступные для изучения.

Сейчас нас, однако, интересуют по преимуществу материалы ненайденные или недостаточно изученные. Их, в свою очередь, можно разделить на три группы: архивы официальных учреждений, частные архивы иностранцев и архивы русских, в разное время переселившихся за границу.

Работая над своей известной книгой «Дуэль и смерть Пушкина», первое издание которой вышло в 1916 году, П. Е. Щеголев получил через Министерство иностранных дел копии донесений аккредитованных в Петербурге дипломатов о гибели поэта. Эти материалы оказались очень интересными и ценными, но голландское Министерство иностранных дел из соображений национально-

го престижа отказалось сообщить донесения посланника в Петербурге барона Геккерна, как известно, сыгравшего неблаговидную роль в драме Пушкина (частично они стали известны по перлюстрациям, хранившимся в архиве нашего Министерства иностранных дел). Только в 1936 году запрещение было частично снято, но наиболее важный документ — письмо Николая I принцу-регенту Вильгельму Оранскому с требованием об отозвании Геккерна, которое, возможно, хранится в личном архиве голландской королевской семьи, не опубликовано и до сих пор.

Точно также остается совершенно недоступным архив Высшего дворянского совета Голландии. По-видимому, французское Министерство иностранных дел сообщило в свое время не все документы о дуэли, в которой в качестве секунданта Дантеса участвовал секретарь посольства виконт д'Аршиак.

С другой стороны, не все русские дипломаты исполнили поручение своего министра о розыске соответствующих материалов в архивах стран, в которых они были аккредитованы.

Таким образом, несмотря на содействие такого авторитетного учреждения, как Министерство иностранных дел, ряд документов все же не был разыскан и ждет дальнейших исследований.

Поиски частных архивов за границей и, главное, получение допуска к ним — дело нелегкое и весьма деликатное.

Все зависит от доброй воли владельцев. Пушкинские материалы к тому же, в силу ряда причин, попали преимущественно в руки самых верхов международной аристократии, не склонной вообще допускать посторонних людей к своим семейным бумагам.

Надо, однако, сказать, что в этой замкнутой и труднодоступной среде архивы обычно сохраняются много лучше, чем в знатных семьях дореволюционной России. Приведу пока один пример, к Пушкину не относящийся.

Однажды я побывал в частично доступном для обозрения громадном архиве князей Шварценберг в чешском городе Тшебони. Он состоял из двадцати четырех камер, разделенных стальными перегородками, и обслуживался несколькими специалистами-архивариусами. Одна из камер содержала бумаги чешской семьи Ружемберг (Розенберг), вымершей более трехсот лет назад.

Таких частных архивов, насколько я знаю, в России не было. Но и в скромных поместьях небогатых европейских дворян бумаги хранились тщательно. Таким образом, если давно исчезнувший из поля зрения архив не погиб от какой-либо стихийной причины, всегда есть известная надежда его обнаружить.

Однако даже архивы никуда не исчезавшие порой очень труднодоступны. Примером может служить история писем Пушкина к его невесте Наталье Николаевне Гончаровой.

Младшая дочь поэта, Наталья Александровна, разойдясь со своим первым мужем, вышла замуж за герцога Нассауского. Брак был «неравнородный», так называемый «морганатический», и титула герцогини Наталья Александровна носить не могла. Австрийский император пожаловал ей титул графини Меренберг. Дочь графини, внучка Пушкина Софья Николаевна, вышла замуж за внука Николая I, великого князя Михаила Михайловича. И этот брак был морганатическим. Николай II его не признал, и супруги навсегда остались в Англии, причем английский король пожаловал внучке

Пушкина титул графини Торби. Эти генеалогические подробности были бы для нас совершенно неинтересны, но графине досталось от матери драгоценное сокровище — письма поэта к невесте. В России было об этом известно, и Академия наук добивалась возвращения их на родину, но графиня Торби, оскорбленная царским непризнанием своего брака, отказала наотрез и заявила, что пушкинские письма никогда Россия не увидит.

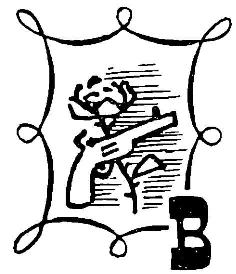
В 1929 году графиня Торби умерла, а ее потомки продали письма известному театральному деятелю и собирателю автографов С. П. Дягилеву, жившему за границей. Вскоре умер и он. Библиотеку и архив Дягилева выкупил танцовщик, впоследствии балетмейстер, Парижской оперы Сергей Лифарь, который в 1936 году выпустил в Париже два издания писем — роскошное и более дешевое. В 1956 году этот почитатель поэта и коллекционер пушкинских автографов принес в дар Пушкинскому Дому найденную им рукопись предисловия к «Путешествию в Арзрум». Быть может, со временем вернутся в СССР и подлинники пушкинских писем к невесте...

Наряду с другими источниками большой интерес представляют архивы русских светских женщин пушкинского времени, по тем или иным причинам навсегда уехавших за границу, и частные архивы иностранных дипломатов, аккредитованных в Петербурге при жизни Пушкина.

Мои личные поиски касаются лиц двух последних категорий. Мне удалось, живя за границей, завязать ряд знакомств в той среде, в которую попали за рубежом пушкинские материалы. Я считал, что, разыскивая их, по мере сил выполняю свой долг перед русской культурой, перед светлой памятью гения, так рано от нас ушедшего.

Надеюсь, что читатель не упрекнет меня за изобилие титулованных особ, о которых придется упоминать. Я уже говорил о том, что материалы, так или иначе относящиеся к Пушкину, попали за рубежом преимущественно в руки людей знатных и богатых. Приступаю теперь к рассказу.

ЕСЛИ ЗАГОВОРЯТ ПОРТРЕТЫ...



В 1933 году в лесах под Прагой был необычайный урожай белых грибов. Казалось бы, что между грибами и материалами, относящимися к Пушкину, связи нет никакой, но на этот раз она оказалась налицо. В один светлый, горячий июньский день я собирал белые грибы в дубовом лесу близ памятной для меня по многим причинам деревни Вшеноры. Рядом со мной прилежно нагибалась и осторожно извлекала из травы крепкие упругие грибки старая дама, внучка одного из братьев Натальи Николаевны Пушкиной. Фамилии называть не буду. Ее уже давно нет в живых.

Присели отдохнуть. Дама не раз рассказывала мне о гончаровском имении Полотняный Завод, где она выросла. На этот раз она приветливо, но хитро улыбнулась и спросила:

— Николай Алексеевич, а вы знаете, что в Словакии живет дочь Александры Николаевны Гончаровой, герцогиня Лейхтенбергская? Я на днях получила от нее письмо...

Я старался казаться спокойным, но на самом деле был очень взволнован. Родная дочь любимой свояченицы Пушкина, Ази Гончаровой, племянница Натальи Николаевны, живет здесь, в Чехословакии, и никто об этом не знает!

Мое волнение возросло, когда я узнал, что престарелая герцогиня хорошо помнит свою тетку. Девочкой она любила сидеть на скамеечке у ее ног, когда Наталья Николаевна приезжала за границу. В замке есть альбом, принадлежавший Александре Николаевне, и в нем карандашный портрет вдовы Пушкина. Есть и еще какие-то реликвии.

Расстояния в Чехословакии не велики. Надо непременно побывать в замке. Задаю вопрос о названии, но сразу вижу, что не так-то это просто. Дама явно не хочет сообщить мне точный адрес. Отвечает описательно — замок находится недалеко от курорта Тренчанске Теплице. Получается нечто вроде чеховского «на деревню дедушке». Не настаиваю, конечно. Достаточно того, что в этом замке живет герцогиня Лейхтенбергская.

Уже более ста лет в Германии время от времени выходит «Готский альманах» — справочная книжка, в которой помещаются сведения о всех «высочайших» и «высоких» особах Европы. Там имеются их точные адреса. Издаются в Готе и справочники, посвященные семьям менее знатным: «Карманная книжка графских родов», «Карманная книжка баронских родов». Составляются они очень тщательно, и нужные исследователю сведения там всегда легко найти.

В ближайший дождливый день, когда в дачной деревне делать нечего, еду в Прагу. В великолепном старинном «зале докторов» Национальной библиотеки беру с полки красный томик с золотой короной. Начинаю перелистывать. Какое разочарование!.. Тщетно я прочитываю страницы, посвященные Лейхтенбергскому герцогскому дому. Нужной мне герцогини нет... Этого я никак не ожидал. Брак, правда, неравнородный — владелица словацкого замка официально герцогиней считаться не может, но

в Готском альманахе упоминаются и морганатические супруги. В чем же дело? Совершенно невероятно, чтобы почтенная шестидесятилетняя женщина выдумала всю эту историю с дочерью Александры Николаевны.

Надо приняться за специальную литературу. В Праге собрана самая богатая в Западной Европе пушкиниана— русская и иностранная. Этим фондом заведует специальный сотрудник, который сейчас же заказывает все работы по Пушкину, выходящие в СССР и на Западе. Здесь же, в Национальной библиотеке, хранится четверть миллиона русских книг — в том числе все, что осталось от знаменитой библиотеки Смирдина, которой пользовался и сам поэт. Кроме чехословацкой столицы, за пределами Советского Союза нигде нет таких условий для работы по Пушкину.

Много часов я провел в зале докторов, стараясь найти какие-нибудь данные о дочери Александры Николаевны. Все было тщетно.

Старую даму я больше не беспокоил. Все равно не скажет, а может получиться и хуже: скажет, но возьмет с меня честное слово молчать. Пока же я ничем не связан и имею право искать.

Так проходят тридцать третий год, тридцать четвертый и тридцать пятый годы. Я чувствовал, что надо торопиться. Герцогине около восьмидесяти лет. В Европе после прихода к власти Гитлера очень неспокойно.

Однажды на костюмированном вечере в одном частном доме я снова встретился со старой дамой. Подошел к ней как был — в тюрбане магараджи, с бумажной звездой на смокинге. Попивая крюшон, мы долго говорили о владелице словацкого замка. Я надеялся, что в гостиной мне повезет больше, чем во вшенорском дубовом лесу, но ошибся. По-прежнему дама приветливо улыбалась,

сообщила мне, что герцогиня еще жива, недавно опять писала. Хотелось сказать ей: «Не будьте графиней из «Пиковой дамы»! Откройте тайну, пока еще не поздно. Ведь не для меня же это». Но безнадежной попытки не сделал.

Развязка наступила неожиданно. Я уже редко вспоминал о словацком замке и его владелице, но поздней осенью 1936 года, перелистывая с совсем другой целью «Русский архив» П. И. Бартенева за 1908 год, я наткнулся на короткую заметку о том, что у Александры Николаевны была дочь красавица, которая вышла замуж за герцога Ольденбургского. Обратите внимание, читатель,— не Лейхтенбергского, а Ольденбургского! Внучатная племянница Пушкиной, рассказав мне о герцогине, по всему судя, спохватилась и, не желая, чтобы я попал в замок, назвала мне не ту фамилию. Очевидно, так...

Но морганатическая супруга герцога Ольденбургского в Готском альманахе должна быть. До Национальной библиотеки далеко, а мне хочется все узнать сейчас же. Спешу во Французский институт имени историка Эрнеста Дени, в котором состою помощником библиотекаря. Там тоже есть альманах. Мое начальство, молодая специалистка по ассирийской клинописи, которая работает над докторской диссертацией, замечает, что я чем-то взволнован. Обещаю объяснить причину потом. Беру с полки красный томик.

Вот она! Герцог Антуан-Гонтье-Фредерик-Элимар Ольденбургский (1844—1885). Вдова: Наталья, урожденная баронесса Фогель фон Фризенгоф; брак несогласный с законами Ольденбургского герцогского дома. Курсивом адрес: *замок Бродяны, Нитранская область, Словакия.*

Итак, все ясно: герцогиня Наталья Густавовна Оль-

денбургская (имя ее отца я знал давно). Готский альманах, правда, именует ее лишь «владелицей Бродян», но для родных и знакомых, как я потом убедился, она герцогиня. Так будем ее называть и мы.

Ключ найден. Остается лишь его повернуть. Однако задача оказывается нелегкой. Без соответствующей рекомендации писать герцогине Ольденбургской по поводу ее семейных воспоминаний и бумаг почти безнадежно. Не ответит, или ответит отказом, или обратится к племяннице, а та явно не хочет, чтобы я попал в замок. Малейшая неосторожность с моей стороны может все испортить. Обращаюсь к моим «готским» знакомым, чьи фамилии фигурируют в красной книжке. К сожалению, никто из них лично не знаком с герцогиней Натальей. Она давным-давно живет в Словакии и никуда не выезжает.

Чувствую все сильнее, что надо торопиться. Старушка родилась в 1854 году. Ей восемьдесят два года. Решаю идти напролом. С разрешения администрации Французского института 28 декабря 1936 года отправляю в Бродяны письмо на официальном бланке.— Обращаюсь к владелице замка в качестве русского исследователя с покорнейшей просьбой поделиться своими воспоминаниями о матери и тетке. Прошу также сообщить, какие пушкинские реликвии имеются в замке.

Проходит одна неделя, проходит другая. Ответа нет. Признак плохой — в том кругу, к которому принадлежит Наталья Густавовна, незнакомым людям отвечают немедленно или уже не отвечают совсем. Еще через две недели письмо из Бродян приходит, но почерк на конверте мужской. Смотрю на подпись — граф Георг Вельсбург.

Читаю французский текст:

«Ответ на Ваше весьма любезное письмо задержался вследствие внезапной смерти моей бабушки, герцогини Ольденбургской, 9 января. Моя бабушка все хотела лично Вас поблагодарить и сказать, что она очень сожалеет, не имея возможности сообщить Вам сведения о Пушкине, так как ее мать никогда не хотела говорить на эту деликатную тему, касающуюся ее сестры».

Я опоздал... С грустью кладу письмо в папку «А. Ф.»— Александра Фризенгоф. Так и не удалось мне встретиться с дочерью Александры Николаевны, любившей сидеть у ног вдовы поэта. Последняя живая связь с тем временем оборвалась.

Хозяйка умерла, но ее замок остался, и так или иначе мне надо в него попасть.

Я списался с графом Вельсбургом и получил приглашение приехать в Бродяны во время пасхальных каникул 1938 года. Пользуясь случаем, я решил по пути осмотреть поле Аустерлицкого сражения, а также побывать в очень красивом краю — Моравской Словакии, знаменитой крестьянскими национальными костюмами.

Готовился к поездке тщательно. Моей целью было проложить дорогу в Бродянский замок для специалистов-пушкинистов. В том, что в никем еще не посещенном замке, где Александра Николаевна прожила около сорока лет, окажется много интересного, я не сомневался, но надо было тщательно обдумать, о чем можно говорить в Бродянах и о чем нельзя. Я снова перечитал все, что мог достать в Праге, об Александре Николаевне Гончаровой, ее семье и ее отношениях с Пушкиным. Выписками заполнил толстую карманную книжку.

Подошла наконец католическая страстная неделя — последняя неделя перед пасхой. В солнечный, но холод-

ный апрельский день я сел в балканский экспресс, и памятная поездка началась. После завтрака в вагоне-ресторане сижу за чашкой кофе и от нечего делать вынимаю свою записную книжку (она уцелела и хранится теперь в Пушкинском Доме в Ленинграде). Надо еще раз перечитать свой конспект.

Александра Николаевна Гончарова родилась годом раньше жены поэта — 27 июля 1811 года. Потомственная дворянка по происхождению, но дворянство Гончаровых весьма недавнее. При Петре I выдвинулся их предок — оборотистый и предприимчивый торговец и промышленник Афанасий Абрамович. Екатерина II в 1789 году возвела Гончаровых в дворянское Российской империи достоинство, но фактически они уже давно вели жизнь богатых дворян и породнились со старинной знатью. В те годы, когда Ази Гончарова, как ее звали близкие, была девочкой, от прежнего богатства оставалось очень немного. Любящий, но беспутный дедушка Афанасий Николаевич промотал огромное состояние и продолжал проматывать его остатки.

Вскоре после женитьбы, 22 октября 1831 года, Пушкин в письме к своему другу П. В. Нащокину отзывается о нем весьма непочтительно:

«Дедушка свинья; он выдает свою третью наложницу замуж с 10000 приданого, а не может заплатить мне моих 12000 — и ничего своей внучке не дает».

Вообще обстановка в семье Гончаровых тяжелая. Отец Ази, Николай Афанасьевич, одаренный и хорошо образованный человек, психически ненормален. По временам наступают настоящие приступы безумия. Мать, Наталья Ивановна, урожденная Загряжская, тоже женщина не без образования. По-русски, как и многие барыни того времени, пишет, правда, безграмотно, но

французский знает неплохо. Характер у нее тяжелый, деспотический. Дети от нее сильно страдают, особенно дочери. Матери боятся, но вряд ли ее уважают. С годами у Натальи Ивановны усиливается ханжество. Кроме того, она начинает пить и, по некоторым сведениям, тайком развратничает с крепостными лакеями. Дома вести не умеет. Гончаровские миллионы растрачены, но бумажная фабрика и земля продолжают еще давать немалый доход. На пропитание Наталья Ивановна получает изрядные суммы, а распоряжается ими плохо. В доме постоянный беспорядок. На балах юные барышни Гончаровы иногда появляются в лопнувших перчатках и стоптанных башмаках. Выдав замуж за Пушкина красавицу-младшую, она, за неимением средств, старших дочерей поселяет в калужской деревне.

В 1936 году опубликовано несколько писем Александры Николаевны к братьям, относящихся к этому периоду. Они полны жизни и движения. У умной и остроумной барышни очень злой язычок. Чувствуется почтительное недовольство матерью, а дедушке достается сильно. Недовольная своей судьбой, мятущаяся внучка отзывается об Афанасии Николаевиче немногим мягче, чем Пушкин.

Большую роль в жизни Александры Гончаровой играют литература и искусство. Поездка к соседу-помещику, у которого есть хорошая библиотека и картины,— для нее настоящий праздник. Наталью Николаевну просит она непременно выслать только что вышедший сборник стихотворений Пушкина. По преданию, еще не будучи знакомой с поэтом, Ази была в него заочно влюблена и знала наизусть множество пушкинских стихов.

Долгое время думали, что барышни Гончаровы получили очень недостаточное образование. Опубликованная

в 1936 году семейная переписка этого не подтверждает. Вероятно, еще отец, до своего заболевания, постарался пригласить хороших домашних учителей. Дедушка тоже постоянно осведомлялся об успехах детей, в особенности внучек. Кроме обязательного тогда французского их учили и по-русски, и по-немецки. Имелся учитель музыки и учитель рисования. Есть, наконец, сведения о том, что постоянными кавалерами подрастающих сестер Гончаровых были образованные молодые люди — студенты Московского университета. Говоря беспристрастно, они учились, видимо, не меньше и не хуже большинства дворянских барышень пушкинского времени.

Русских писем Александры Николаевны пока не опубликовано. Французские в 1832 году, когда ей был 21 год, написаны бойко и во всех отношениях грамотно. Их автор — духовно содержательная и вполне культурная девушка.

И еще одна мысль об Александре Николаевне. Бедовая была девица, совсем не «кисейная барышня». По натуре смела. Как и жена Пушкина, отличная наездница. Хотелось ей, видимо, и в жизнь броситься смело, да время еще не было подходящим для таких, как она. Родись она лет на тридцать-сорок позже, сумела бы устроить жизнь по-своему.

Но волевой и страстный характер Александры Николаевны, несомненно, сыграл свою роль в истории ее отношений с Пушкиным.

В 1834 году Наталья Николаевна, которая очень любила своих сестер, решила взять их к себе в Петербург. По-видимому, их положение в доме самодурки-матери стало невыносимым. Пушкин согласился, но неохотно. 14 июля 1834 года он пишет:

«Но обеих ли ты сестер к себе берешь? Эй, женка,

смотри... Мое мнение: семья должна быть одна под одной кровлей: муж, жена, дети — покамест малы; родители, когда уже престарелы. А то хлопот не наберешься и семейное спокойствие будет нарушено».

С переездом Александры Николаевны к Пушкиным хлопот, надо сказать, не прибавилось, а скорее убавилось — по крайней мере для Натальи Николаевны. Домашнее хозяйство стала вести Александрина, и она же заботилась о маленьких детях поэта, кажется, больше, чем их довольно легкомысленная мать.

Семейное спокойствие... По-видимому, нельзя сомневаться в том, что в последние месяцы жизни поэта оно было нарушено не только благодаря увлечению Натальи Николаевны Дантесом. В воспоминаниях и письмах современников есть немало намеков на то, что близость поэта с любимой свояченицей в какой-то момент стала не родственной. Из уважения к памяти Пушкина в печати об этом долгое время почти не упоминалось, но в 1907—1908 годах дочь Натальи Николаевны от второго брака А. П. Арапова опубликовала в приложениях к очень тогда распространенной реакционной газете «Новое время» воспоминания, в которых рассказала на основании семейных воспоминаний о далеко зашедшем романе Пушкина. В советское время появился в печати ряд новых свидетельств, говорящих о том же.

Александра Николаевна долгие годы оставалась у сестры, по-прежнему помогая воспитывать подрастающих детей. Если верить Араповой, характер у стареющей барышни постепенно стал тяжелым, деспотическим.

В 1852 году она в возрасте сорока одного года вышла наконец замуж за чиновника австро-венгерского посольства барона Густава Фогель фон Фризенгоф и уехала с ним за границу. По словам Араповой, ей пришлось



АЛЕКСАНДРА НИКОЛАЕВНА ГОНЧАРОВА

Дагерротип, год неизвестен.

перед свадьбой признаться жениху в своем былом увлечении, и с тех пор отношение барона Густава к памяти поэта резко изменилось. Где жила в дальнейшем Александра Николаевна и когда умерла, пушкиноведам не было известно. В 1887 году она во всяком случае была еще жива, и с ее слов муж, по просьбе племянницы А. П. Араповой, написал последней довольно подробное письмо о дуэли и смерти Пушкина. К сожалению, этот документ мало значителен — память престарелой баронессы ослабела и, самое главное, даже полвека спустя она не пожелала откровенно написать о драме Пушкина то, что, несомненно, знала.

Мой кофе давно выпит, а ресторанная прислуга всюду не любит пустых столов и клиентов, уткнувшихся в бумаги. Заказываю еще чашку и рюмку бенедиктина. Теперь я спокойно могу перелистывать свою книжку.

Родословная графов Вельсбург — она мне тоже нужна. Сын герцога Элимара Ольденбургского от морганатического брака с баронессой Натальей Густавовной Фогель фон Фризенгоф не наследовал герцогского титула и получил фамилию граф фон Вельсбург. Ее носит и теперешний владелец Бродян, граф Георг, младший сын покойного первого графа. В числе его предков есть и шведский король из династии Ваза. Вывод: о романе Пушкина и Александры Николаевны в замке говорить нельзя. Взглядов его хозяев я не знаю, но с вероятными предрассудками аристократической семьи надо считаться.

Другой вывод важнее и для меня печальнее. Пушкинских рукописей, которые, вероятно, были у Александры Николаевны в Петербурге, в Бродянах, почти наверное, нет. Положение супруги барона Густава, несмотря на давность событий, было деликатным...

Первой частью своей поездки я остался доволен. Побывал на поле битвы под Аустерлицем с первым томом «Войны и мира» в руках. По-прежнему на спуске с Праценской горы близ разветвления двух дорог стоит одинокий заброшенный дом, у которого остановился Кутузов перед самым началом сражения. Где-то здесь недалеко лежал раненый князь Андрей. Кругом никого не было. Я лег на спину и старался думать мыслями Болконского: «Как же я не видал прежде этого высокого неба? И как я счастлив, что узнал его наконец. Да! Все пустое, все обман, кроме этого бесконечного неба. Ничего, ничего нет, кроме него. Но и того даже нет, ничего нет, кроме тишины, успокоения. И слава богу!..»

Потом поезд снова везет меня дальше на восток — в живописный богатый край Моравскую Словакию. Побродив по деревням и полюбовавшись на праздничные наряды женщин, ухожу в горы. Невысокий массив Яворина, который отделяет Моравию от Словакии. Вечереет. Я иду с рюкзаком за плечами. Никогда еще не видел столько подснежников, как на этом волнистом хребте. Целые гектары скромных белых цветов. От них тянет нежным, чуть слышным ароматом весны. Иду один по этому царству подснежников и уже думаю, не сбился ли я с пути. Припасов в мешке достаточно, но ночь в горах будет холодная, очень холодная. Совсем неожиданно передо мной возникает ярко освещенное деревянное здание. Отель, в котором я буду ночевать.

Поутру медленный спуск в долину реки Вага. Обычно здесь тепло. Сады зацветают по крайней мере на две недели раньше, чем в Праге. Они и сейчас цветут, и солнце светит по-весеннему ярко, но откуда-то с севера льется холодный воздух. Ветер не прекращается, и когда я в городке Тренчине осматриваю развалины

древнего замка, он катает по двору мелкие камешки. Упорно пытается сорвать мою новую кепку, специально купленную для этой поездки в Бродяны.

Еще одна ночь в отеле, и утром я снова в поезде. Здесь уже не ходят скорые. По одноколейной дороге среди гор полупустой поезд медленно тащится на восток к долине реки Нитры, где и стоит замок Александры Николаевны. Отсюда еще очень далеко до России, но словацкие бабы куда больше похожи на русских, чем чешки. Моя соседка распеленала ребенка, целует его и совсем по-русски говорит: «Душенька».

Маленькая станция, последняя перед Бродянами. Здесь мне предстоит подождать с полчаса местного поезда. Подтянув рюкзак, выхожу на почти пустой перрон. Элегантный молодой человек высокого роста, лет тридцати, в спортивном костюме и зеленом макинтоше подходит ко мне, приподнимает кепи.

— Господин Раевский?

— Граф Вельсбург?

Знакомимся. Сажусь рядом с графом в небольшую машину. По пути он указывает мне на белую часовню на склоне холма. Она, кажется, протестантская, а не католическая.

— Наш фамильный склеп. Там похоронена и бабушка...

— А где покоится ее мать, Александра Николаевна?

— Тоже там... Потом я покажу вам и склеп.

Вот и первый результат моей поездки — узнал, где похоронена Александра Николаевна. Потом, конечно, узнаю и дату смерти.

Мы въезжаем в ворота старого парка и останавливаемся перед замком. Граф открывает массивную дверь, окованную железными полосами. Берется за старинное

кольцо, вставленное в львиную пасть. Не без волнения я переступаю порог замка, в котором десятки лет жила и закончила свои дни баронесса Александра Николаевна Фогель фон Фризенгоф, в прошлом Ази Гончарова. Что-то я увижу здесь?..

Молодая графиня Вельсбург выходит встретить русского гостя в вестибюль, на верхней площадке лестницы нас ожидает ее мать, вдова командира кирасир Вильгельма II. Прошу у дам разрешения говорить по-французски — по-немецки я делаю ошибки, да и не люблю этого языка.

Меня проводят в большую гостиную, стены которой сплошь увешаны портретами. Сидим в старинных креслах вокруг старинного стола. Новых вещей вообще незаметно — даже массивные лампы керосиновые, так как в глухой словацкой деревне пока нет электричества. В камине потрескивают дрова — несмотря на апрель, замок еще приходится топить. Хозяева, угостив меня отличной сливовицей и шоколадными конфетами, спрашивают, не хочу ли я сначала немного отдохнуть. Благодарю, но отказываюсь. Мне не терпится поскорее начать осмотр комнат.

Обо всем, что я увидел и услышал в Бродянах, я подробно рассказал в статье, опубликованной в сборнике «Пушкин. Исследования и материалы»[1]. Здесь я могу только вкратце изложить результаты моего кратковременного (менее двух суток) пребывания в замке. Архива я не просил мне показать — только что познакомившись с хозяевами, я считал это неудобным. Все в свое время... Единственный документ на русском языке, который

---

[1] В замке А. Н. Фризенгоф-Гончаровой.—«Пушкин. Исследования и материалы», т. IV, стр. 379—393.

граф Вельсбург, видимо, заранее приготовил для меня и просил перевести, оказался извещением Министерства императорского двора о том, что их величества изъявляют согласие на брак фрейлины Гончаровой[1].

Меня очень интересовал вопрос о том, нет ли в архиве писем Натальи Николаевны к сестре. Эти письма когда-то существовали, так как сестры были дружны, а целых три года — с выхода замуж младшей (13 февраля 1831 года) до 1834 года жили врозь. Там могли оказаться новые подробности о жизни пушкинской семьи и о самом поэте. Вельсбург ответил уклончиво: в архиве вообще нет писем на русском языке. Расспрашивать подробнее о семейных бумагах я не считал возможным, но был почти уверен в том, что сестры переписывались по-французски. По крайней мере, в нескольких опубликованных письмах Александры Николаевны к братьям есть только отдельные русские фразы, вкрапленные во французский текст, а Наталья Николаевна в одном из писем к деду признается, что ей легче писать по-французски, чем по-русски.

Не задал я вопроса и о пушкинских рукописях. Поспешность могла только испортить дело. Вернувшись в Прагу, я узнал, что о моей поездке, тщательно «засекреченной» для успехов поисков, бывшая камеристка герцогини Натальи сообщила А. М. Игумновой. Эта русская дама, постоянно жившая в Словакии, как оказалось, была хорошо знакома с покойной владелицей Бродян и провела в ее замке целых три лета. Будучи очень интеллигентной женщиной, Игумнова старалась выяс-

[1] Александра Николаевна получила это звание в 1839 году. Во дворце она не жила и придворной службы, по-видимому, не несла.

нить вопрос о пушкинском наследии в Бродянах, но это ей не удалось. В письме от 5 июня 1938 года она сообщила мне, что «...несмотря на все усилия не нашла и не узнала там ничего относящегося к Пушкину». Сомневаться в точности слов Игумновой не приходится, но можно подумать только, была ли откровенна Наталья Густавовна со своей русской гостьей?

Судьба бумаг Александры Николаевны остается весьма неясной. Сам я не пытался ее выяснить, но в примечании к моей статье редакция сборника «Пушкин» приводит следующие сведения (стр. 292): «В своих «Воспоминаниях о Бродянах» и в письмах, присланных в Рукописный отдел ИРЛИ[1], А. М. Игумнова, касаясь судьбы бродянского архива, сообщает, что перед смертью Александра Николаевна сожгла все хранившиеся у нее письма; по-видимому, остальные бумаги из ее архива были сожжены по ее просьбе дочерью; в свою очередь Наталья Густавовна, умирая, завещала своей воспитаннице, бывшей в течение многих лет ее доверенным лицом, сжечь все ее бумаги и письма, в том числе обширную переписку с матерью, что и было исполнено».

Таким образом, если бы сведения, сообщенные А. М. Игумновой, были вполне точны, следовало бы ожидать, что после двух сожжений от архива Александры Николаевны ничего не уцелело. Это во всяком случае неверно, так как в Пушкинском Доме хранится целый ряд ее бумаг, полученных из Бродян. Бумаг Натальи Густавовны там действительно нет. Нет и ни одной строки Пушкина. Были ли они? Мы этого не знаем, но я продолжаю думать, что, уезжая с мужем за

[1] Институт русской литературы (Пушкинский Дом) АН СССР.

границу, Александра Николаевна, считаясь с его чувствами, не могла взять с собой рукописей поэта. Это, конечно, лишь предположение,— быть может, «бродянский Пушкин» когда-нибудь и найдется, но мне это кажется маловероятным.

От посещения Бродян у меня осталось такое впечатление, что при жизни Александры Николаевны имя Пушкина было в замке под запретом. В первом своем письме Вельсбург сообщил мне со слов своей бабушки, которой, к несчастью, оставалось жить всего несколько дней, новый и ценный факт: ее мать никогда не говорила с дочерью о Пушкине, считая это слишком деликатным для памяти сестры. Тема была, конечно, деликатной для самой баронессы, а вовсе не для Натальи Николаевны — законной жены своего мужа, который погиб, защищая ее оклеветанную честь. Мы, правда, совершенно не знаем, считала ли Александра Николаевна сестру действительно невинной, но, во всяком случае, стесняться можно было прежде всего воспоминаний о Дантесе. Между тем его большой портрет висел в столовой, о чем еще речь впереди, а ни единого портрета Пушкина в замке не было.

Я смутно надеялся на то, что в Бродянах, быть может, сохранились произведения Пушкина с его дарственными надписями свояченице. Библиотека в замке для частного дома огромная (не менее 10 000 томов). Она занимает целый зал и содержится в большом порядке. Есть и отдельный русский шкаф, но тщетно я искал там прижизненные издания Пушкина. Есть только посмертное издание с прелестным экслибрисом герцогини и ее печатью. Я просмотрел его и не нашел никаких указаний на то, что оно когда-то принадлежало Александре Николаевне.



НАТАЛЬЯ НИКОЛАЕВНА ПУШКИНА.
Акварель работы В. Гана, 1842 год.

Рукописей Пушкина у Ази Гончаровой могло и не быть — поэт дарил их неохотно, но томики с посвящениями, судя по всему, несомненно, были. Остались они где-то в России.

Еще одна мысль о рукописях: если бы они были, то очень маловероятно, чтобы перед смертью Александра Николаевна их сожгла. Ведь художественные произведения Пушкина ее никак не компрометировали. И еще менее правдоподобно, на мой взгляд, чтобы Наталья Густавовна, очень культурная женщина, всю жизнь занимавшаяся музыкой, живописью и поэзией, держала бы в тайне рукописи поэта, а умирая, завещала их сжечь.

Итак, архива я не видел и ничего определенного о нем сказать не могу. Зато портретов, рисунков, мемориальных вещей, в то время никому не известных, я увидел множество. Покойный поэт Владислав Ходасевич, которому я сообщил по секрету о результатах поездки в Бродяны, написал мне, что я нашел клад. По правде говоря, не нашел. Мне его показали хозяева. Хранили они клад отлично — не в каждом музее так тщательно ухаживают за экспонатами — нигде ни соринки, ни один лист не помят, все стекла протерты. Жена владельца замка, показывая мне акварельный портрет одного из братьев Натальи Николаевны, который стоял на столике перед камином, спросила, не может ли ему повредить теплый воздух. Пришлось сказать, что музейного дела я не знаю... Услышал я от графини и такое признание:

— Это должны быть интересные вещи, мы их бережем, как умеем, но значения их не знаем.

Как умел, я рассказал любезным хозяевам о значении их иконографических сокровищ.



НАТАЛЬЯ НИКОЛАЕВНА
ПУШКИНА-ЛАНСКАЯ.

Карандашный рисунок Н. П. Ланского в альбоме Александры Николаевны Фризенгоф-Гончаровой, 1852 год.

Осмотр их начался с альбома, принадлежавшего Александре Николаевне. Небольшой альбом отлично сохранился. В нем я насчитал двадцать девять заполненных листов с карандашными портретами, частью расцвеченными акварелью. Сделаны они очень грамотным любителем. Впоследствии выяснилось, что им был Н. П. Ланской, племянник второго мужа Натальи Николаевны, генерала П. П. Ланского.

Среди портретов преобладают члены семей Пушкина и Ланских, но есть немало и знакомых, в том числе престарелый писатель Ксавье де Местр, князь П. А. Вяземский, князь Н. А. Орлов. Один портрет особенно интересен. Немолодая уже, красивая женщина с лицом южного типа. Графиня Юлия Павловна Строганова, по национальности португалка. Проведя очень бурно молодость (есть сведения о том, что она была в совсем юном возрасте любовницей одного из маршалов Наполеона и, по-видимому, занималась шпионажем), урожденная графиня д'Альмейда в конце концов стала знатной русской дамой и при жизни поэта была близкой приятельницей Н. Н. Пушкиной. Настолько близкой, что когда Пушкин умирал, именно она и княгиня В. Ф. Вяземская почти безотлучно находились в его квартире. Насколько я знаю, портретов Строгановой известно очень мало.

Есть в альбоме и карандашный портрет сорокалетней Н. Н. Ланской с ее автографом, сделанный в 1852 году. Наталья Николаевна сидит в кресле. По-прежнему красиво ее лицо, но сходство, кажется, не очень схвачено. Не будь французской подписи, я бы ее не узнал. Другие портреты знакомых лиц удались рисовальщику значительно лучше. К сожалению, все они сделаны много лет спустя после смерти Пушкина (1851—1857 гг.).

В замке оказался еще ряд изображений Натальи Николаевны. Вот прелестная акварель 1842 года, несомненно работа искусного художника. Портрет подписан, но второпях я не отметил фамилии. Тридцатилетняя генеральша Ланская в расцвете своей красоты.

А вот фотография стареющей болезненной дамы в черном платье, снятая за год до смерти Натальи Николаевны (она скончалась в 1863 г. в возрасте 51 года). Но лучше всего Пушкина-Ланская вышла на отлично сохранившемся дагерротипе, который Вельсбург, во избежание выцветания, хранил в письменном столе.

В одинаковых платьях и чепцах сидят рядом Наталья Николаевна и Александра Николаевна. За ними и сбоку трое детей Пушкиных — сыновья в мундирах пажей и девочка-подросток (младшая дочь Наталья). Одна из девочек Ланских прижалась к коленям матери. Дегерротип снят не в ателье, а в комнате (видны книжные шкафы) и, по всей вероятности, относится к 1850 или, самое позднее, к 1851 году (старший сын А. А. Пушкин окончил Пажеский корпус в 1851 году). Наталье Николаевне было тогда 38-39 лет.

Беру большую лупу и долго смотрю на генеральшу Ланскую. Прекрасные, тонкие, удивительно правильные черты лица. Милое, приветливое лицо — любящая мать, гордая своими детьми. Невольно вспоминаются задушевные пушкинские письма к жене. На известных до сих пор изображениях Натальи Николаевны, как мне кажется, нигде не передан по-настоящему этот немудреный, но живой и ласковый взгляд, который сохранила серебряная пластинка.

У ее сестры заострившиеся черты стареющей барышни. Тоже очень живое лицо, но совсем иное, чем у Натальи Николаевны. Пристальный, умный, но жесткова-

тый взгляд. От этой сорокалетней особы можно ждать острого слова, но вряд ли услышишь ласковое.

Есть и другие портреты Александры Николаевны. Принято считать, что умная Ази Гончарова, в противоположность своей недалекой сестре, была некрасива. Чуть заметное косоглазие Натальи Николаевны, которое нисколько ее не портило, у старшей сестры было много сильнее. Позировать, а позднее сниматься анфас она обычно избегала. Однако бродянские портреты Александры Николаевны показывают, что в молодости она была далеко не так некрасива, как обычно думают. Один недатированный дегерротип действительно изображает особу непривлекательного вида, но снимок, во-первых, неудачный, а во-вторых, сравнительно поздний. Зато на большом овальном портрете, несомненно, пушкинских времен, у Ази Гончаровой очень миловидное и духовно значительное лицо. Есть и поздние бродянские фотографии шестидесятых-семидесятых годов. Баронесса Фогель фон Фризенгоф располнела, отяжелела. Ничего не осталось от былой лихой наездницы. Взгляд у нее спокойный, но по-прежнему жестковатый. Есть, наконец, большой портрет Александры Николаевны в глубокой старости работы ее дочери Натальи Густавовны (масло). Хороший, совсем не любительский портрет — герцогиня была одаренной художницей и всерьез училась живописи. Александре Николаевне, должно быть, за семьдесят. Из-под черной наколки виднеется белый старушечий чепчик. Умное, строгое, но успокоившееся лицо. Нет в глазах прежней пронзительности. В кресле сидит очень степенная, важная старушка — баронесса, теща герцога Элимара Ольденбургского. Поэт здесь решительно ни при чем.

Когда скончался ее муж, барон Густав, мне выяснить

не удалось. В 1887 году он был еще жив, и, значит, замужество Александры Николаевны продолжалось не менее двадцати пяти лет. На портретах и фотографиях, которых в Бродянах много, барон Фризенгоф производит впечатление представительного, корректного человека. Был ли счастливым поздний брак Александры Николаевны, пока сказать нельзя. Во всяком случае, судя по всему, он был прочным и спокойным. Если первое время барон и ревновал жену к памяти Пушкина, то на склоне лет ее увлечение поэтом, вероятно, стало лишь полузабытой главой семейной хроники. Не надо забывать, что в 1887 году старики совместно написали племяннице малосодержательное, но обширное письмо о дуэли и смерти Пушкина.

Осматривая бродянские реликвии, я невольно подумал, часто ли вспоминала венгерская помещица свои русские годы и своего гениального свояка.

Все пушкинское она, видимо, оставила в России, но в замке я все же увидел две вещи поистине памятные... Графиня Вельсбург, старавшаяся показать мне все, что могло меня интересовать, сняла с пальца старинное золотое кольцо с продолговатой бирюзой и сказала, что оно перешло к ней от герцогини, а ей досталось от матери. Кольцо Ази Гончаровой, почти наверное, то самое, о котором княгиня Вера Федоровна Вяземская, жена друга Пушкина, когда-то рассказала издателю «Русского архива» пушкинисту П. И. Бартеневу! Однажды поэт взял у свояченицы кольцо с бирюзой, несколько времени носил его, потом вернул. А в ящичке с драгоценностями герцогини (именно ящичке из простой фанеры — Наталья Густавовна считала, что воры не обратят на него внимания) я увидел потемневшую золотую цепочку от креста, тоже принадлежавшую Александре Николаев-

не. Доказать, конечно, невозможно, но, быть может, это самая волнующая из бродянских реликвий. Та же Вяземская рассказывала, что умиравший Пушкин, оставшись с ней наедине, передал ей цепочку от креста и просил, когда он умрет, передать ее Александре Николаевне, но непременно без свидетелей. Княгиня помнит, что, принимая загробный подарок, свояченица поэта вспыхнула и сказала: «Не понимаю, отчего это». Очевидно, с ним была связана какая-то очень интимная тайна. В своих воспоминаниях Арапова пытается ее раскрыть, но верны ли ее сведения, исходящие к тому же от прислуги Пушкиных, сказать невозможно. Думаю поэтому, что приводить их не стоит. Но, читая повествование Бартенева, я никогда не думал, что мне суждено будет увидеть кольцо, а возможно, и цепочку.

Сейчас кое-что из бродянских портретов и бумаг находится в Пушкинском Доме и Всесоюзном музее А. С. Пушкина в Ленинграде. К сожалению, за малыми исключениями, это материалы второстепенного значения. Куда девалось остальное, пока неизвестно. Мне же кроме архива удалось увидеть, правда накоротке, все, как было в этом замке при жизни Александры Николаевны и ее дочери.

Не буду говорить о портретах предков герцога Элимара Ольденбургского—для нас они неинтересны. Но вот многочисленные русские портреты, главным образом акварели и миниатюры, которые в трех комнатах — большой гостиной, малой гостиной и столовой — висели на стенах, стояли на столиках и этажерках. Это целый семейный музей, как я уже сказал, очень бережно сохранившийся. Я долго рассматривал эти никому неведомые сокровища, обходя одну за другой комнаты в сопровождении хозяина замка, помнившего, очевидно, со

слов бабушки, многих русских предков. Вот Афанасий Иванович Гончаров —«дедушка-свинья», как непочтительно назвал его Пушкин,— благообразный старик в синем фраке; вот родители Александры Николаевны — Николай Афанасьевич и Наталья Ивановна; вот ее брат, лейб-гусар Иван Николаевич Гончаров. О многочисленных портретах самой Александры Николаевны и Н. Н. Пушкиной-Ланской я уже рассказал. В столовой висит большой портрет (литография) В. А. Жуковского с его подписью и там же, на очень видном месте, овальный портрет Дантеса, исполненный в 1844 году художником С. Вагнером. Дантес еще молод — ему всего 32 года, но благодаря бородке-эспаньолке, выглядит старше. Он в штатском. По-прежнему красивый и самоуверенный человек, кажется, очень довольный самим собой. И подпись его под стать внешности — размашистая, со сложным росчерком.

Немало в столовой и «русских гравюр», как их издавна зовут в замке,— портретов и групп, но уже герцогиня Наталья не помнила, кого они изображают. Почти все исполнены в 1839—1844 годах, когда Александра Николаевна жила у сестры.

О том, что в Бродянах есть портреты ее родных, я знал давно. Не упоминаю здесь об альбомах фотографических карточек, так как они относятся к позднему времени (преимущественно семидесятые годы и позже) и особого интереса не представляют. Но в замке меня ждала большая неожиданность — никак нельзя было предполагать, что там окажется множество рисунков французского писателя и художника графа Ксавье де Местра (1768—1852). Сейчас в Советском Союзе о нем мало кто знает — гораздо известнее его старший брат Жозеф, сардинский посланник при Александре I, госу-

дарственный деятель и видный философ-реакционер, имевший влияние и на императора. В дореволюционной России ученики средних школ кое-что о нем слышали, но Ксавье де Местра они знали все. Язык его нетруден, а действие некоторых произведений происходит в России, которую этот добропорядочный второстепенный писатель знал значительно лучше, чем большинство французских авторов. Он приехал к нам в 1800 году, довольно долго состоял на русской военной службе, участвовал в войнах на Кавказе и в Персии. Для русского Министерства народного просвещения его изящные и политически отменно благонадежные повести оказались вполне приемлемыми. Перед империалистической войной все тогдашние гимназисты целый год читали «Кавказских пленников» Ксавье де Местра.

Для нас интересно, что Пушкина де Местр знал еще ребенком, так как бывал в доме его родителей в Москве. Встречался ли он с поэтом в его лицейские и послелицейские годы, мы не знаем, но очень возможно, что такие встречи были. После высылки Пушкина на юг видеться они не могли, а в 1825 году писатель надолго уехал за границу и вернулся в Россию только в 1839 году. В России он и скончался в глубокой старости.

Надо сказать, что архив Ксавье де Местра, если он сохранился, может оказаться в некоторых отношениях интересным. О раннем детстве поэта, свидетелем которого был французский писатель и художник, нам известно крайне мало. Кроме того, женившись на Наталье Николаевне, Пушкин стал свойственником де Местра, так как его жена София Ивановна, урожденная Загряжская, была родной сестрой Натальи Ивановны Гончаровой.

О том, что Ксавье де Местр хорошо рисовал, иссле-

дователи знали давно. По некоторым сведениям, он, живя в Москве в начале века и сильно нуждаясь, даже зарабатывал на жизнь именно рисованием портретов. Один из них много раз воспроизводился — это миниатюра на слоновой кости, портрет матери Пушкина, Надежды Осиповны, в молодости. Однако известное до сих пор художественное наследие де Местра было крайне бедным — кроме этого изображения еще несколько миниатюр, портрет князя Д. И. Долгорукова и две незначительные акварели в одном из провинциальных музеев Франции. Французский биограф предполагал, что работы де Местра следует искать в Советском Союзе.

Каково же было мое удивление, когда в замке на берегу Нитры Георг Вельсбург, предложив мне посмотреть рисунки де Местра, выложил передо мной на стол восемь больших, отлично сохранившихся альбомов! Долго я их перелистывал — хозяева замка меня не торопили. Прелестные тонкие рисунки карандашом, по-французски изящные, на мой взгляд, немного холодные, акварели, карикатуры, семейные сценки, набросанные умелой рукой. Есть среди рисунков и очень ранние — например, спящий кот с надписью «Василий Иванович, 1810». Судя по типу лиц и по военным формам, в этих альбомах немало соотечественников. Есть и ряд подписанных изображений — среди них один из братьев Тургеневых (кажется, декабрист — Николай Иванович), некая княгиня Г. Гагарина, г-жа Пашкова и другие. Один портрет очень взволновал меня. Небольшой, тщательно отделанный рисунок карандашом. Молодой человек лет восемнадцати-двадцати в штатском. Голова в профиль влево и верхняя часть туловища. Густые волнистые волосы, чуть одутловатые губы. Очень большое сходство с Пушкиным, но уверенности в том, что это он, у меня не было.

Рисунок сделан 24 мая. Год не указан, но если это поэт, то последний возможный год 1819, так как в следующем Пушкин в это время уже уехал в южную ссылку. Возможно, Ксавье де Местр изобразил двадцатилетнего поэта, а его облика в этом возрасте мы не знаем. Тем ценнее портрет, если только я не ошибся. Говорю Вельсбургам о его значении. Беречь не прошу. Знаю, что и без моей просьбы в этом замке с рисунком ничего не случится.

Только вкладываю в альбом закладку с надписью «Пушкин» (?).

К сожалению, я ошибся. Впоследствии, когда портрет был воспроизведен в одном словацком научном издании, известная пушкинистка Т. Г. Цявловская с несомненностью установила, что это «Левушка» — брат поэта, Лев Сергеевич (автор словацкой публикации, как и я, предположительно считал портрет пушкинским). Такие ошибки случались уже не раз — братья были очень похожи, да и почерк Льва Сергеевича неоднократно принимался за братнин. Во всяком случае, этот портрет показывает, что Ксавье де Местр встречался со Львом Пушкиным (родился в 1805 году) около 1824—1825 гг. и, надо думать, говорил с ним об опальном тогда поэте. Я уже упоминал о том, что при уточнении биографии Пушкина порой и мелкий факт, вроде этого, оказывается в конце концов существенным.

Чем же, однако, объясняется наличие в Бродянах части наследия де Местра? Альбомами оно не ограничивается. В замке есть большой портрет писателя в глубокой старости. Кроме того, Вельсбург показал мне том стихотворений В. А. Жуковского с русской дарственной надписью *«Графу Местру от Жуковского. В знак душевного уважения»*.



ЛЕВ СЕРГЕЕВИЧ ПУШКИН.
Карандашный рисунок Ксавье де Местра,
ок. 1825 года.

Ксавье де Местр был женат на тетке Александры Николаевны, но вряд ли причина в этом не очень-то близком свойстве. В большой гостиной мне показали несколько портретов первой жены Густава Фризенгофа, Натальи Ивановны, урожденной Ивановой. Происхождение этой красивой женщины южного, явно нерусского типа довольно загадочно. В замке сохранялось предание о том, что она была дочерью самого Александра I. В свое время ее удочерила София Ивановна Ксавье де Местр. На царя она, надо сказать, нисколько не похожа, но ее сходство с писателем сразу мне бросилось в глаза. Я вспомнил, что у него была внебрачная дочь, которую де Местр очень любил. С разрешения хозяев беру со стола акварельный портрет Натальи Ивановны и сравниваю с портретом старика-писателя. Никакого сомнения — отец и дочь! Присутствующие со мной соглашаются. Таким образом, София Ивановна удочерила вовсе не царскую дочь, а просто внебрачного ребенка своего мужа. Много запутанных нитей, пушкинских и околопушкинских, тянется к этому замку на берегу Нитры. Одну удалось только что распутать, а сколько их остается!..

И еще об одном портрете надо рассказать. Недавняя очень удачная фотография герцогини Ольденбургской. Глубокая старуха сидит на коне по-мужски. Она похожа на мать — такой же пристальный взгляд, как у Александры Николаевны, но лицо доброе. Судя по всем рассказам, владелица Бродян действительно была доброй женщиной. В деревне ее любили и вспоминают тепло.

Я провел несколько часов среди давно умерших родных и знакомых поэта. Многих из них знал в лицо я чуть не с детства. Много о них читал. Но в этом замке воспоминаний я увидел их по-новому, как не видел еще

никто из писавших о Пушкине. Незабываемые бродянские часы...

Мы ужинали при свечах. Все было, как во времена Александры Николаевны. На столе скатерть из русского льна, искрящийся богемский хрусталь, массивное серебро из приданого шведской принцессы вперемежку со скромными серебряными вещами с монограммой «А. Г.». В полумраке чуть видны портреты — Дантес, Жуковский, «русские гравюры» с забытыми людьми. Воспоминания, воспоминания...

После ужина долго беседуем в малой гостиной. В разных местах комнаты мягко горят свечи.

Я сижу в старинном глубоком кресле. Рассказываю хозяевам о бурных русских годах, о Карпатах, о прорыве армии Буденного к Перекопу. Им это интереснее далеких околопушкинских воспоминаний. Но мои мысли сейчас не в Галиции и не в Северной Таврии, а по-прежнему в Бродянах.

Вот здесь, в этой комнате, в этих самых креслах, три четверти века тому назад сиживали две стареющие женщины — генеральша Ланская и ее сестра. О чем они говорили, о чем думали? Опустила ли Наталья Николаевна глаза, увидев впервые портрет Дантеса? Или его убрали на время перед приездом Ланской? Бегут воспоминания о прочитанном, встают один за другим вопросы, а говорю я все не о том, о чем думаю.

Поздно уже. Кажется, дамы устали. Прошу разрешения откланяться. Граф провожает меня до отведенной мне комнаты и, желая спокойной ночи, прибавляет с улыбкой:

— К вам, наверное, придет замковый дух.

В серебряном канделябре горит свеча. Как в хороших английских рассказах из замковой жизни, трещит

сверчок. Раздеваюсь, ложусь. Свеча потушена. Остается появиться замковому духу, но я не намерен его ждать. В старинном апартаменте с готическими сводами засыпаю так крепко, что никакое привидение меня не разбудит.

Утром после кофе меня пригласили пройтись по парку. Он невелик, но красив. Распланирован в английском вкусе и немного напоминает Павловск. Старые толстые деревья — липы, дубы, ясени, вязы, лужайки с видами на замок. Немного позднее здесь зацветает сирень. Не помню, где я еще видел такие огромные кусты. Вероятно, им не менее ста лет. Может быть, любуясь ими, Александра Николаевна когда-то вспоминала гончаровское имение — Полотняный Завод.

Самый замок — охряно-желтое двухэтажное строение — невелик и совсем не роскошен. Скромная резиденция небогатых помещиков. Создавалась она постепенно. Наиболее древняя часть с готическими сводами построена еще в средние века, главный корпус, вероятно, в семнадцатом столетии, другая часть в половине восемнадцатого, а библиотечный зал пристроен уже в девятнадцатом. В нижнем этаже помещается апартамент для гостей и службы, во втором — жилые комнаты.

Вокруг замка долго сохранялся ров, но Фризенгофы, купив его у прежних владельцев, предпочли засыпать этот остаток старины. Об обстановке замковых покоев я уже говорил. Она почти целиком старинная. Сохранилось и немало вещей, принадлежавших Александре Николаевне: ее бюро работы русских крепостных мастеров, к сожалению, переделанное, несколько икон, столовое серебро, печати с гербами Гончаровых и Фризенгофов, маленькие настольные часы — очень скромный подарок императрицы фрейлине Гончаровой.

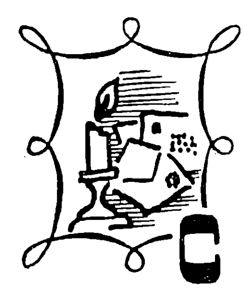
Перед тем как уехать, я побывал с графом Вельсбургом в фамильном склепе. Первым от входа стоит серебристый с золотом гроб с надписью на немецком языке:

БАРОНЕССА АЛЕКСАНДРА ФОГЕЛЬ
ФОН ФРИЗЕНГОФ
УРОЖДЕННАЯ ГОНЧАРОВА
*1811
† 9 VIII 1891.

С глубоким волнением я поклонился праху той, которая была так близка Пушкину. Она умерла восьмидесяти лет, пережив поэта больше чем на полвека.

Хозяева замка пригласили меня снова приехать в Бродяны на пасхе 1939 года. Я рассчитывал привезти с собой специалиста-фотографа, осмотреть все подробнее. Надеялся, что мне покажут и архив. Поездке не суждено было состояться. За несколько дней до назначенного срока в Прагу вошли танки Гитлера. Чехословакия временно стала протекторатом Богемия и Моравия. В словацкое «государство» я ехать не мог. Связь с Бродянами прервалась, и только много лет спустя я узнал о том, что замок уцелел, часть реликвий попала, к счастью, в Ленинград, а где находится остальное — неизвестно.

КОГДА НАШЕЛСЯ АРХИВ



Среди неизвестно где находящихся архивов, в которых, по всей вероятности, были материалы, так или иначе относящиеся к Пушкину, литературоведов издавна интересовали бумаги австрийского посла в Петербурге графа Шарля-Луи Фикельмона и его жены, графини Дарьи Федоровны, которая в литературе о Пушкине более известна под своим английским уменьшительным именем Долли.

В 1942 году я решил попытаться найти этот неизвестный, но несомненно ценный архив. Задача была нелегкой, так как Фикельмон скончался в 1857 году, его жена умерла в 1863 году, и никаких данных о местонахождении их бумаг в известной мне литературе не было.

В то же время, зная, как тщательно сохраняются в архивах западно-европейской знати бумаги не только своей семьи, но и давно вымерших близких родов, я был уверен в том, что архив Фикельмонов можно отыскать, если только он случайно где-нибудь не погиб за восемь десятилетий, прошедших после смерти графини. Не раз я вспоминал пожелтевший листок толстой бумаги XV века — письмо княгини Берты Лихтенштейн, дальней свойственницы князей Шварценберг. Мне его показали в их архиве в Тшебони, о котором я уже упоминал. На старинном, но вполне понятном чешском языке эта женщина, очень несчастная в супружеской жизни, жало-

валась отцу на свою печальную судьбу. По преданию, после смерти она обратилась в привидение, и появление ее тени в одном из замков предвещало близкую смерть владельца. На тему этой легенды французский композитор Буальдьё написал в свое время известную оперу «Белая Дама». Легенда легендой, а подлинное письмо мне прочел архивариус Шварценбергов незадолго перед войной.

Граф и графиня Фикельмон жили во времена совсем не легендарные, ездили на пароходах и по железным дорогам, посылали телеграммы — увидеть их бумаги было много вероятнее, чем письмо Белой Дамы.

Но вероятность одно, а осуществление ее — совсем другое. Надо было отыскать конец нити. Я нашел его сравнительно быстро, но далеко не сразу. Помешала война. Надо кроме того сказать, что гитлеровцы, продержав меня в 1941 году два месяца в тюрьме, запретили мне затем выезжать из Праги. Таким образом мои возможности были очень и очень ограничены. Приходилось искать неизвестно где находящийся архив, сидя в зале докторов Национальной и Университетской библиотеки.

Я знал давно, что в 1911 году в Париже некий граф Ф. де Сони издал письма графа и графини Фикельмон к сестре Дарьи Федоровны, графине Екатерине Тизенгаузен. По-видимому, в Россию попало лишь очень мало экземпляров этой интересной книги. Пушкинисты ее почти совершенно не использовали. Я рассчитывал на то, что де Сони, вероятно, знал, где хранится архив Фикельмонов, и, быть может, упомянул об этом в изданном им сборнике. К сожалению, в богатых книгохранилищах Праги нужной мне книги не оказалось. Тщетны были и мои попытки что-либо узнать об ее составителе. Ни в

одном из французских справочников фамилии де Сони я не нашел. По всей вероятности, это псевдоним.

Один ключ не подошел. Я стал искать другой.

Граф Фикельмон с пятнадцати лет состоял на австрийской службе, но по происхождению он француз из старинного бельгийско-лотарингского рода, сын эмигранта. Возможно, что во Франции или в Бельгии и сейчас проживают какие-либо потомки его родственников, но я не пытался узнать, кто именно. Все равно во время войны списаться с ними невозможно. Надо поискать, не осталось ли родственников и в Центральной Европе.

Одну за другой беру книги по пушкиноведению, но нужных мне данных не нахожу. Позже я убедился в том, что плохо искал,— кое-какие сведения все же были.

Прошло несколько недель. Однажды, сидя дома, я вдруг вспомнил о том, что где-то читал о дочери графини Фикельмон. Кажется, она вышла замуж за какого-то австрийского князя. Да, несомненно читал, но где? Силюсь вспомнить — не удается... Еще и еще раз напрягаю память. И вдруг ясно вижу перед собой толстый поблекший том —«Старую записную книжку» друга Пушкина, князя П. А. Вяземского.

Скорее в библиотеку! «Старая записная книжка» в полном собрании сочинений Вяземского — это не один том, а три. Перелистываю их, заглядывая в указатели, и почти сразу нахожу то, что мне нужно. Запись 12 ноября 1853 года, сделанная в Венеции:

«12. Вечер у Стюрмер. Первый в Венеции (...). Принцесса Клари белоплечая с успехом поддерживает плечистую славу бабушки своей Елизы Хитрово. Красива и мила».

У Елизаветы Михайловны Хитрово, друга Пушкина, дочери фельдмаршала М. И. Кутузова, была только

одна замужняя дочь. Вторая, фрейлина Екатерина Федоровна Тизенгаузен, замуж не вышла. Итак, принцесса Клари... Фамилия звучала по-итальянски. А вскоре я нахожу еще одну обрадовавшую меня запись без даты:

«Графиня Хотек, бабушка нынешнего принца Клари, который владеет Теплицем и женат на нашей полусоотечественнице графине Фикельмон, оставила по себе записки».

Есть и еще несколько записей, а в двенадцатом томе — стихотворение «Notturno», написанное в 1863 году и посвященное «принцессе Клари, урожденной графине Фикельмон». Старческая бледная лирика (Вяземскому 71 год), но чувствуется, что былой поклонник матери неравнодушен и к дочери. Девятью годами раньше он писал (по-французски) графу А. Орлову: «Мне доставило большое удовольствие ее видеть прежде всего потому, что она была она, и затем еще потому, что для меня она была ее мать».

Я прочел все упоминания о «принцессе Клари», как ее именует Вяземский (теперь принято писать — княгиня Кляри), но запоздалые чувства старого поэта мне неинтересны. Важно то, что дочь Д. Ф. Фикельмон найдена и ее мужу лет восемьдесят тому назад принадлежал замок в городе Теплице, по-чешски Теплице-Шанове. Может быть, бумаги Фикельмонов и сейчас хранятся там? Это очень недалеко от Праги, но, к сожалению, поездка в Теплиц для меня невозможна. К тому же за восемьдесят лет все могло измениться. Живя в Праге, я ничего не слышал о князьях Кляри. Где их искать, и существует ли сейчас этот род?.. Мог и вымереть за столько лет. Но о княжеской фамилии Кляри разузнать будет нетрудно. Для этого есть справочники и,

прежде всего, Готский альманах. Если изучить родословную, можно догадаться и о том, куда мог попасть архив..

На следующий день я занял в зале докторов Национальной библиотеки один из специальных столов для читателей книг большого формата. Передо мной строй толстых томов — несколько чешских справочников, французская Большая Энциклопедия, темно-малиновый с золотом том новой итальянской, Британская Энциклопедия, сборник австро-венгерских биографий и, конечно, маленький по формату, но очень нужный Готский альманах. Служащие библиотеки посматривают на мой стол с интересом. Они приблизительно знают, чем заняты постоянные посетители, а я работаю в этом великолепном зале уже больше десяти лет. Сначала подбирал материал для диссертации по анатомии насекомых, потом увлекся пушкиноведением. Как я уже упомянул ранее, здесь хранится и все, что уцелело от петербургской библиотеки Смирдина, которой пользовался и сам поэт.

Один из библиотекарей подходит ко мне, шепотом спрашивает:

— Нашли что-нибудь, господин доктор?[1]

Я улыбаюсь:

— Надеюсь найти...

Кое-что я уже установил. Дочь графини Фикельмон в честь императора Александра I и его жены, императрицы Елизаветы Алексеевны, была названа Елизаветой-Александрой. Ее муж носил титул князя Клари-и-Альдринген.

---

[1] В Чехословакии долгое время существовала только одна ученая степень — доктора. Она приблизительно соответствует нашей кандидатской.



ЗАМКОВАЯ ПЛОЩАДЬ В ТЕПЛИЦЕ

Замок — трехэтажное здание справа, гравюра 1810 года.

Беру то один том, то другой. Выясняю, кто на ком и когда женился, где проживал, когда умер, что сталось с детьми. Мелькают передо мной Прага, Венеция, Рим, Вена, Лондон, Париж, дворцы, имения, замки... Стараюсь не упустить ни одного возможного варианта.

Через два дня задача теоретически решена. Князья Кляри-и-Альдринген здравствуют и поныне. Их основная резиденция — по-прежнему замок в Теплице. Там проживает старший в роде, правнук графини Дарьи Федоровны, князь Альфонс. Если архив Фикельмонов не погиб в восьмидесятых годах во время одного пожара в Лондоне, то с наибольшей вероятностью его надо искать именно в теплицком замке. На втором месте стоит дворец Кляри в Венеции, на третьем — имение одного престарелого итальянского генерала где-то близ Рима.

Начинать, конечно, надо с Теплица. Опять, как и в истории с Бродянами, встает вопрос о рекомендации. Из энциклопедий узнаю, что Альфонс Кляри-и-Альдринген — знатный и очень богатый магнат. До земельной реформы, проведенной в Чехословакии после 1918 года, ему принадлежало более десяти тысяч гектаров — по западно-европейским масштабам цифра огромная. Библиотека теплицкого замка пользуется европейской известностью.

В альманахе сказано, что Кляри женат на чешской княжне. От знакомых узнаю, что до войны он вообще держался больше чешской, чем немецкой линии. Это очень облегчает дело, но рекомендация все же необходима. На этот раз, просмотрев Готский альманах, вижу, что получить ее будет нетрудно. Мой хороший знакомый, убежденный чешский патриот князь Карл Швар-

ценберг, правнук фельдмаршала, который считается победителем Наполеона в битве под Лейпцигом, оказался родным племянником Кляри. (Надо сказать, что национальность аристократов Средней Европы — зачастую вопрос убеждения, а не происхождения; у всех почти оно крайне смешанное). Шварценберг неплохо знает русский язык, перевел на чешский блоковских «Скифов». На мое французское письмо он отвечает по-русски — не совсем правильно, но вполне понятно. Его дядя не помнит, есть ли у него интересующие меня материалы. Просит сообщить подробно, о каких именно бумагах идет речь. Стороной узнаю, что по обстоятельствам военного времени владелец замка лишился своего заведующего архивом.

Посылаю в Теплиц очень подробное письмо. Запрашиваю между прочим, нет ли в замке дневника прадеда Кляри, Шарля-Луи Фикельмона, и альбома графини. Прикладываю серию фотокопий — образцы почерка Пушкина и его жены, Вяземского, Александра Ивановича Тургенева и других лиц, которых близко знала графиня Фикельмон. Особенно прошу поискать письма поэта. Чтобы заинтересовать владельца замка, сообщаю ему о том, что подвиг его прапрадеда, отца Дарьи Федоровны, увековечен Толстым в «Войне и мире». Под Аустерлицем флигель-адъютант граф Фердинанд — Федор Тизенгаузен повел со знаменем в руках в контратаку расстроенный батальон, был тяжело ранен, взят в плен и после трехдневных страданий скончался.

В настоящее время мы имеем возможность уточнить дату смерти Ф. Тизенгаузена. В алтаре соборной церкви города Таллина находится, как нам сообщила Т. П. Милютина, обелиск с портретом Тизенгаузена и надписью (на немецком языке):

Здесь покоится флигель-адъютант
его величества императора Всероссийского
граф **ФЕРДИНАНД** фон **ТИЗЕНГАУЗЕН**,
кавалер орденов Марии-Терезии и св. Анны.
Он умер смертью героя от ранений,
полученных накануне под Аустерлицем.
МДССV (1805).

По-видимому, однако, это не могила, а лишь памятник — кенотаф.

Толстой воспользовался рассказом об этом героическом эпизоде, создавая знаменитую сцену ранения князя Андрея.

Как будто, все сделано... Остается ждать ответа. Жду с нетерпением. Я решал уравнение со многими неизвестными и совсем не уверен в том, что нашел правильное решение.

Письмо, датированное 22 ноября 1942 года, приходит лишь недели через три. Кляри просит извинить его за задержку с ответом. Идет война, он очень занят. Дальше, дальше... От волнения четкие строки расплываются у меня перед глазами. Мне будет выслана копия письма Пушкина к графине Дарье Фикельмон! Дневника прадеда не существует, но есть петербургский дневник прабабушки и в нем длинная запись о дуэли и смерти поэта, сделанная в день его кончины. Текст записи я также получу.

Итак, уравнение решено правильно. Архив Фикельмонов найден, и в нем есть неизвестное письмо Пушкина. Существует дневник графини, о котором до сих пор не знал решительно никто.

Один из счастливых дней моей жизни!..

Вскоре наступает другой, еще более счастливый. Мне

подают заказной пакет с немецким штемпелем «Теплиц-Шенау». Сейчас там третий рейх. Почтальон-чех удивлен: вместо обычной кроны я даю ему двадцать. Осторожно вскрываю конверт. На стол падает копия французского письма Пушкина к графине Фикельмон от 25 апреля 1830 года из Москвы и еще одна машинопись. С волнением читаю неизвестные строки поэта. Потом принимаюсь за дневниковую запись: «Сегодня Россия потеряла своего дорогого, горячо любимого поэта Пушкина...» Сто пятьдесят строк французского текста. Сразу же вижу, что передо мной документ большой важности; нового в нем мало, но уже известное подтверждает независимая свидетельница, близко знавшая поэта. Рано или поздно биографы Пушкина, наверное, используют ее запись.

В тот же день пишу в Теплиц. Благодарю князя Кляри-и-Альдринген за услугу, которую он, дальний потомок Кутузова, оказывает науке о Пушкине. Благодарю от имени всех, кому дорога память нашего великого поэта.

С тех пор прошло более двадцати лет. Оба документа, машинописные копии которых мне удалось получить, опубликованы в наших академических изданиях. Точный текст письма Пушкина установлен теперь по фотокопии, присланной в Пушкинский Дом из Чехословакии, и приводится во всех новых изданиях сочинений поэта. Подлинник хранится в одном из государственных архивов ЧСДР. Две тетради дневника Фикельмон, принадлежавшие ранее Кляри, вошли в состав другого чехословацкого архива. В 1959 и 1960 годах в Праге и Вене вышли (на русском языке) работы профессора А. В. Флоровского, в которых довольно подробно изложено содержание дневника и приведен ряд выдержек, касаю-

щихся Пушкина[1]. Давно изданные в Париже письма супругов Фикельмон и Е. Ф. Тизенгаузен остаются по-прежнему почти неиспользованными, хотя они очень интересны и хорошо дополняют петербургский дневник. В Праге мне в конце концов удалось получить это очень редкое издание из одной частной библиотеки, и я сделал из него много выписок.

Однако читатель, вероятно, уже давно подумал: кто же она такая, эта графиня Фикельмон, внучка Кутузова, супруга австрийского посла? Какова ее роль в жизни Пушкина?

Дарья Федоровна — дочь флигель-адъютанта Александра I штабс-капитана инженерных войск графа Фердинанда — Федора Тизенгаузена и Елизаветы Михайловны, урожденной Голенищевой-Кутузовой, любимой дочери полководца. О жизни геройски погибшего Тизенгаузена неизвестно почти ничего. Елизавете Михайловне, наоборот, посвящено немало обстоятельных работ. Почитатели Пушкина знают ее под фамилией второго мужа — Хитрово. Эта умная и добрая, но несколько странная женщина была стойкой русской патриоткой, хотя, как и многие светские дамы ее круга, с трудом писала по-русски (а по-французски, к слову сказать, с грубыми ошибками, чем, однако, грешили тогда не только русские, но и аристократки-француженки). Славу своего великого отца Елизавета Михайловна любила так сильно, что не совсем по праву подписывалась *«урожденная княжна Кутузова-Смоленская»*, хотя полководец получил этот титул, когда его дочь была уже замужем.

---

[1] Записи Фикельмон о Пушкине изложены и Н. В. Измайловым во «Временнике Пушкинской Комиссии». 1962, М.—Л., стр. 32—37.

Любила она и отечественную литературу. Лично знала и постоянно принимала у себя некоторых русских писателей — Жуковского, Вяземского, графа Соллогуба. По не вполне надежным сведениям, в ее петербургском салоне бывал и молодой Гоголь. Познакомившись (вероятно, летом 1827 года) с Пушкиным, Елизавета Михайловна Хитрово вскоре стала одним из самых преданных друзей поэта. Об ее патриотизме и дружбе с Пушкиным надо помнить и в повествовании о графине Фикельмон. За исключением немногих лет, мать все время жила вместе с дочерью.

Старшая из сестер, Екатерина Тизенгаузен, родилась в 1803 году: младшая, Даша, 14 октября 1804 года. Об ее раннем детстве мы знаем только по письмам Кутузова к Елизавете Михайловне и по немногим упоминаниям в дневнике Дарьи Федоровны. Первые одиннадцать лет своей жизни будущая графиня Фикельмон провела вместе с сестрой в Ревеле у бабушки Тизенгаузен, которую она очень любила и считала своей второй матерью. Обстановка, в которой росли девочки, была далеко не роскошной — графиня впоследствии вспоминает в дневнике о «простых и однообразных нравах и обычаях маленького города или северной деревни». Что это за «северная деревня», мы не знаем,— вероятно, эстляндское имение Тизенгаузен. Мать подолгу живала вместе с дочерьми у родственников покойного мужа. Лето то проводила у них же, то ездила с девочками на дачу в Стрельну под Петербургом. Порой предпринимала и далекие поездки: в Бухарест к отцу, в Крым, но дочери в это время оставались у бабушки.

С раннего детства они знают и французский, и немецкий. В свои русские письма к старшей внучке Кутузов то и дело вставляет отдельные фразы на этих

языках. Иногда пишет ей целиком по-немецки. Впоследствии обиходный язык Фикельмон главным образом французский, но хорошее знание немецкого несомненно помогало ей лучше понимать жизнь Центральной Европы. Из писем Кутузова видно, что девочки учатся и родному языку. Однако будем помнить, что Даша Тизенгаузен с детства жила в нерусской среде и, кроме Ревеля и Петербурга с окрестностями, кажется, нигде больше в России не бывала.

В 1811 году ее мать выходит вторично замуж за генерал-майора Николая Федоровича Хитрово.

Пытаясь проследить жизненный путь Дарьи Федоровны, приходится пока постоянно делать оговорки — «по-видимому», «вероятно», «может быть». Очень многого мы о ней не знаем точно или совсем не знаем. Мало что известно и об ее отчиме. Кажется, он был человек образованный, несколько начитанный, весьма приятный в обхождении (только не с крепостными, так как в конце XVIII века против него было возбуждено редкое по тому времени дело по обвинению в жестоком обращении с крестьянами). Во всяком случае никакими выдающимися способностями генерал, видимо, не обладал. Не был он причастен и к подвигам воинским, так как по слабости здоровья в Отечественной войне не участвовал, о чем его тесть Кутузов упоминает с некоторой иронией. Какую роль он играл в воспитании падчериц, неизвестно.

В 1815 году обходительный генерал назначается российским поверенным в делах при великом герцоге Тосканском. Семья переезжает во Флоренцию. Даше в это время одиннадцать лет. Для девочки начинается новая жизнь, совсем уже далекая от России и скромных ревельских нравов. В дневнике она вспоминает о внезап-

ном переходе «в среду самого высшего света и самых элегантных обычаев».

Во Флоренции проходит конец детства и юность Даши Тизенгаузен. Мы увидим в дальнейшем, что и в зрелые годы графиня Фикельмон была необыкновенно восприимчива ко всему прекрасному в жизни. Можно думать, что эта чуткость развилась у нее именно в столице Тосканы, где так много художественных сокровищ. Искусство там издавна срослось с повседневной жизнью. Чуть не каждая церковь расписана великими мастерами эпохи Возрождения. На улицах и площадях сколько-нибудь внимательный глаз не пропустит статуй, созданных в эту эпоху художественного расцвета Италии. Картинные галереи полны творений мирового значения.

Чудесный город... По вечерам золотистый полусвет скрадывает линии старинных зданий, терпко пахнут разогревшиеся за день кипарисы, и от мутной реки Арно тянет влажным теплом. В ноябре Флоренция еще полна роз, в феврале ее сады окутаны розовыми облаками цветущего миндаля.

Легко себе представить, как жизнь там влияла на подраставшую девочку. Так и видишь ее вместе с матерью и сестрой в галерее Уффици перед знаменитой «Весной» Ботичелли или в церкви Сан-Лоренцо перед гробницами герцогов Лоренцо и Джульяно Медичи, изваянными Микеланджело, или просто на улице, любующейся порталом храма Санта-Мария дель Фьоре.

И пусть читатель не посетует на меня за эти флорентийские подробности — в духовном облике графини Фикельмон навсегда осталось многое от Италии, ее любимой страны.

П. И. Бартенев, хорошо знавший многих современников графини, говорит, что обе сестры «получили отлич-

ное образование во Флоренции». Учились девочки, надо думать, дома у гувернанток и приходящих учителей разных национальностей. Так учился маленький граф М. Д. Бутурлин, живший в то время с родителями во Флоренции. У Бутурлина был русский учитель, но обучал ли он и девочек Тизенгаузен, неизвестно. Во всяком случае, живя за границей, Дарья Федоровна, как мы увидим, сильно забыла русский язык, но, когда началось это забвение, сказать трудно,— может быть, во Флоренции, может быть, позже, во взрослые годы самостоятельной жизни. Удивляться этому не приходится. Современницы Пушкина, никуда из России не выезжавшие, и те, по его словам:

Не все ли, русским языком
Владея слабо и с трудом,
Его так мило искажали,
И в их устах язык чужой
Не обратился ли в родной?

У Долли Тизенгаузен, как ее стали звать во Флоренции, к тому же прибавилось там еще два иностранных языка — английский и итальянский. До́ма, по дворянскому обычаю того времени, наверное, говорили по-французски. Была ли в семье Хитрово русская прислуга, неизвестно (переехав с господами границу, крепостные по закону становились вольными).

Семейства Бутурлиных и Хитрово очень сблизились. Можно поэтому думать, что многие подробности быта тогдашних русских флорентийцев, которые приведены в записках Бутурлина, относятся и к семье русского поверенного в делах. По словам автора, русских, постоянно живших во Флоренции, было очень мало. Наезжали иногда из России знатные путешественники. Жизнь про-

ходила по-иностранному. При дипломатической миссии не было и церкви. Отец Бутурлина устроил крошечную домашнюю церковку в занимаемом им доме, но служил в ней священник-грек, исповедовавший русских по-итальянски.

Не мудрено было Долли Тизенгаузен разучиться русскому языку...

Очень рано — лет с четырнадцати, если не с тринадцати, она начала «выезжать в свет» вместе с матерью и сестрой. Во Флоренции, надо сказать, единого высшего общества не было. Католическая итальянская аристократия держалась особняком. Иностранцев там принимали неохотно. Очень замкнутая, чинная и довольно скучная среда, особенно старшее поколение. Был во Флоренции и двор. Не бог весть какой государь, великий герцог Тосканский, но все же государь. Семья русского посланника не только бывала во дворце, но и близко познакомилась с монархом. Долли Тизенгаузен с полудетских лет привыкла к дворцовой обстановке и этикету.

Вероятно, молоденькой девушке все-таки веселее было в другом кругу. Его составляли знатные и, во всяком случае, богатые туристы разных национальностей, главным образом англичане и американцы. На балу в этом международном обществе графиню Долли увидел однажды французский путешественник Луи Симон, судья взыскательный и строгий. В своей книге он находит манеры молодых англичанок и американок чересчур вольными. Зато падчерицей русского дипломата он не налюбуется. Прекрасно воспитана, послушна, нежно любит свою мать. Юная барышня напоминает ему англичанку, но англичанку очень хорошего общества.

Вскоре она лишилась отчима. Генерал Хитрово по каким-то причинам уже в январе 1817 года ушел в

отставку, но оставался с семьей во Флоренции. 19 мая 1819 года он умер. В это время Долли шел пятнадцатый год.

Овдовев вторично, Елизавета Михайловна по-прежнему оставалась во Флоренции, но жила там не безвыездно. По крайней мере однажды совершила с дочерьми большую поездку в Центральную Европу. Несомненно, побывала в Вене, где императрица-мать прозвала Долли «Сивиллой флорентийской» — в дальнейшем мы узнаем, почему.

Духовно привлекательная и житейски опытная Е. М. Хитрово сумела создать себе и, прежде всего, подросшим дочерям блестящее положение в европейском «большом свете». Средства у нее, если и были, то очень небольшие. Если верить А. Я. Булгакову, то после смерти второго мужа она одно время даже осталась «в прежалком положении, с долгами и без копейки денег». Славное имя Кутузова знали, конечно, и иностранцы, но вряд ли оно производило на них большое впечатление. Истинную роль великого полководца в победе над Наполеоном и у нас ведь поняли много позже. Графы Тизенгаузен — древний немецкий род, но и только. В толстой «Справочной книжке графских домов» таких семей множество. Еще меньше могла говорить иностранцам стародворянская, но не титулованная фамилия Хитрово. Между тем среди личных друзей Елизаветы Михайловны и ее дочерей в начале двадцатых годов мы находим прусского короля Фридриха-Вильгельма III, герцога Леопольда Саксен-Кобургского, впоследствии бельгийского короля, и много других членов королевских и владетельных домов Германии, Австрии и Италии, не говоря уже о многочисленных представителях самых верхов аристократии.

Эти дружеские отношения «высочайших», «высоких» и просто знатных особ с Е. М. Хитрово и ее юными дочерьми возникли, конечно, не по признаку знатности и богатства последних.

Вряд ли их можно объяснить и замужеством графини Долли. Мы знаем немало претендентов на руку ее старшей сестры, как известно, оставшейся незамужней. Среди них, по-видимому, был и король Фридрих-Вильгельм III. О том, как проходила жизнь сердца юной «Сивиллы флорентийской», не знаем пока ничего,— быть может, потому, что ее судьба определилась очень рано. 3 июня 1821 года, не достигнув еще и семнадцати лет, Дарья Федоровна вышла замуж за австрийского посланника при короле Обеих Сицилий графа Шарля-Луи Фикельмона, выдающегося кавалерийского генерала и дипломата. Позже, в преклонных годах, он стал плодовитым и интересным политическим писателем. О происхождении Фикельмона можно сказать то же самое, что и о Тизенгаузенах: не богатый, но старинный бельгийско-лотарингский род — и только.

Разница лет между супругами была огромная. Шарль-Луи, родившийся в 1777 году, был на двадцать семь лет старше своей юной жены и на шесть лет старше ее матери.

Пушкинисты не раз задавались вопросом о том, была ли счастлива в замужестве графиня Фикельмон. Решали его по-разному. Л. Гроссман, например, говорит о ней, как о женщине «видимо, несчастной». То же отношение к замужеству Дарьи Федоровны чувствуется и у некоторых других литературоведов. Почти девочка, выданная матерью за пожилого мужчину, вероятно, из-за денежных расчетов. Несмотря на несходство положений, вспоминается рассказ Татьяны:

.....Неосторожно,
Быть может, поступила я:
Меня с слезами заклинаний
Молила мать; для бедной Тани
Все были жребии равны...
Я вышла замуж...

Читатель, знакомый с историей создания «Евгения Онегина», быть может, подумает — а в самом деле, не рассказ ли это графини Фикельмон о своем замужестве? Ведь восьмая глава «Онегина» была написана тогда, когда поэт уже был знаком с женой австрийского посла...

Предположение заманчивое, но, несомненно, неверное. Пушкин описал встречу своей героини с ее будущим мужем в предыдущей главе. Помните эту строфу:

— Взгляни налево поскорей.
— «Налево? где? что там такое?»
— Ну, что бы ни было, гляди...
В той кучке, видишь? впереди,
Там, где еще в мундирах двое...
Вот отошел... вот боком стал...
— «Кто? толстый этот генерал?»

Судьба Татьяны предрешена, но седьмая глава закончена в ноябре 1828 года, когда графиня Долли еще не прибыла в Петербург. Пушкин был уже тогда хорошо знаком с ее матерью, но совершенно невероятно, чтобы Елизавета Михайловна рассказала поэту о том, как ради денег ей пришлось выдать дочь замуж за нелюбимого человека. Против этого говорит все, что мы знаем о матери Долли, особе в высшей степени романтической, очень ценившей и культивировавшей всякое чувство. Нет, вообще не верится, чтобы она могла выдать замуж любимую дочь по расчету!

Истории этой свадьбы мы не знаем, но, на мой взгляд, шестнадцатилетняя девушка легко могла увлечься блестящим боевым генералом, которому было тогда всего сорок три года, человеком во всех отношениях привлекательным, умным, остроумным и, вероятно, горячо ее полюбившим.

Ранние браки были тогда в обычае не только у русских крестьян (вспомним, как будущую няню Татьяны «...с пеньем в церковь повели» в 13 лет!), но и в аристократических семьях России и Западной Европы. Рано начинали взрослую жизнь знатные девушки того времени. Учились обычно лет до пятнадцати, а там вскоре и замужество, и материнство. Большая разница в летах между мужем и женой тоже не была редкостью.

Необычный на наш теперешний взгляд брак Долли Фикельмон вполне мог быть заключен по взаимной любви.

Такое же впечатление остается и от поздних писем графини, не изученных пушкинистами. То и дело она с несомненной любовью и нежностью говорит о своем старом уже муже. О молодости Дарья Федоровна вспоминает не часто, но всегда радостно — особенно о годах, проведенных в Неаполе. Кажется, именно там, когда генерал Фикельмон еще не начал стареть, графиня Долли была счастливее, чем когда-либо.

Там же, в Неаполе, родилась ее единственная горячо любимая дочь, будущая княгиня Кляри. Появление этого ребенка, вероятно, еще более сблизило супругов.

На замужестве Дарьи Федоровны мы остановились подробнее не случайно. Для истории ее отношений с Пушкиным, как мы увидим, далеко не безразлично, была ли она счастлива в семейной жизни.

В неаполитанские годы мать и сестра Фикельмон живут вместе с ней или во всяком случае в том же городе. В 1822 году восемнадцатилетняя Дарья Федоровна отправляется с ними в Россию и проводит там около полугода, а в июне 1829 года приезжает в Петербург уже в качестве супруги австрийского посла при российском дворе. Молодой посольше всего двадцать четыре года. Е. М. Хитрово со старшей дочерью, с девяти лет числившейся фрейлиной, окончательно вернулась в Петербург по-видимому еще в 1826 году. Вначале она живет отдельно, но через некоторое время переселяется в особняк австрийского посольства, где и остается до самой смерти (3 мая 1839 года). Ее старшая дочь, Екатерина Федоровна Тизенгаузен, становится личным другом императрицы Александры Федоровны и живет во дворце.

Свой ответственный пост граф Фикельмон занимает в течение целых одиннадцати лет, получив в 1830 году чин фельдмаршала-лейтенанта австрийской армии. Изредка посол уезжает из столицы. Летом 1833 года он отправляется в Чехию, которая тогда называлась Богемией, осенью 1837 года граф был в Крыму, но Дарья Федоровна, кроме Петербурга с окрестностями и своего любимого Ревеля, как кажется, и за эти долгие годы нигде в России не побывала.

В 1839 году Фикельмон был вызван в Вену и временно замещал графа Меттерниха, а в 1840 году его вовсе отозвали из Петербурга. Он выехал из столицы 20 июля. Графиня уехала раньше и больше на родину не возвращалась. Сестра время от времени навещала ее в Австрии.

По приезде из России Фикельмон был назначен на почетный пост, приблизительно соответствующий минист-

ру без портфеля, и до революции 1848 года выполнял разные, главным образом дипломатические, поручения. По существу, однако, он оказался не у дел. Графа считали — и не без основания — руссофилом, что крайне не нравилось враждебному к России Меттерниху.

Супруги жили эти годы преимущественно в Вене, а летом в теплицком замке у дочери, которая в шестнадцать лет вышла по любви замуж за князя Эдмунда Кляри. В тридцать восемь лет Д. Ф. Фикельмон уже бабушка, в сорок семь у нее четверо внучат.

Большая политическая карьера ее мужа возобновилась было во время революции 1848 года, но вскоре оборвалась окончательно. 18 марта Фикельмон, считавшийся человеком умеренных взглядов, вошел в состав первого конституционного кабинета в качестве министра двора и иностранных дел, а после отставки графа Коловрата короткое время замещал председателя совета министров. Министерский пост граф Шарль-Луи занимал всего сорок пять дней. Революционная демонстрация студентов, направленная не только против министра, но и против его русской жены, заставила Фикельмона выйти в отставку. Во время событий 1848 года Дарье Федоровне, надо сказать, пришлось перенести немало волнений и неприятностей — в особенности в Венеции, где ее дважды арестовывала гражданская гвардия. В конце концов она с трудом выбралась из города вместе с дочерью, зятем и внучатами на английском корабле.

Граф Фикельмон к политической деятельности больше не возвращался. Энергичный и бодрый старик всецело отдается своим литературным работам, которыми занимался и прежде. Его французские книги, посвященные большей частью злободневным политическим вопро-

сам, теперь совершенно забыты, но некогда, особенно во времена Восточной войны 1853—1856 гг., имели немалый успех. Написаны они несколько старомодным (и для того времени) языком, но читаются легко. Автор, хотя и уважавший царя, осуждает восточную политику Николая I, но к России он относится с большой симпатией.

В начале 1855 года Фикельмоны пополам с князем Кляри покупают дворец в Венеции (palazzo Clary и поныне принадлежит потомкам теплицкого магната). Поселяются там вместе с зятем, дочерью и внучатами.

Граф Шарль-Луи скончался в Венеции 6 апреля 1857 года восьмидесяти лет от роду. Дарья Федоровна, рано начавшая болеть, ненадолго пережила мужа. Она умерла в Вене 19 апреля 1863 года, несколькими месяцами раньше Н. Н. Пушкиной-Ланской.

Биография графини Фикельмон — дело будущего. Я набросал только краткую схему ее не очень долгой жизни. Как мы видели, внешних событий в ней было немного. Только революция 1848 года прервала ее размеренный, на вид спокойный бег.

Присмотримся теперь ближе к облику Долли Фикельмон. Новые источники позволяют сейчас восстановить его полнее, чем он был известен раньше.

В первом приближении этот облик определяется одним словом — очарование. Очарование внешнее, очарование духовное — на этом сходятся все, писавшие о графине и при ее жизни, и после смерти.

Долгое время не было известно ни одного портрета Дарьи Федоровны. Сейчас и в Советском Союзе, и за рубежом их обнаружено несколько, но, насколько я знаю, пока опубликован лишь набросок Пушкина, сделанный в 1832 году, и определенный А. М. Эфросом.

С любезного разрешения профессора А. В. Флоровского мы публикуем фотокопию с акварели английского художника Т. Юинса, исполненной в Неаполе в 1826 году. Графине двадцать два года, но выглядит она старше. Красота у нее сочетается с величавой наружностью дамы большого света. Именно такой Пушкин знал Долли Фикельмон.

О внешности Фикельмон свидетельств немало, но, к сожалению, никто не описал ее подробнее. Можно быть, однако, уверенным в том, что некий генерал Эссен без зазрения совести польстил Кутузову, уверяя старого полководца, что маленькая Даша очень на него похожа. И в детстве, и в ранней юности она была уже красавицей удивительной. М. Д. Бутурлин, впервые встретивший младшую Тизенгаузен во Флоренции, вспоминает, как даже его, десятилетнего мальчика, поразила красота пятнадцатилетней Долли. На самом деле ей было тогда всего тринадцать. Появление девятнадцатилетней графини в петербургском и московском большом свете в 1823 году вызывает настоящий восторг. Будущий декабрист А. А. Бестужев пишет матери, что на празднике в Петергофе «...первая красавица была графиня Фикельмон, дочь Хитрово и внучка Кутузова — в самом деле прекрасная женщина». Ольга Сергеевна Павлищева, сестра Пушкина, впоследствии считала, что Фикельмон не менее красива, чем ее золовка, жена поэта.

Эпитет «красавица» неотделим от имени Долли Фикельмон, причем, как кажется, ее красота была ласковой, чарующей. И в пожилые уже годы, несмотря на частые болезни, Дарья Федоровна оставалась очень красивой женщиной. В одном частном пражском собрании мне удалось увидеть хорошую литографию с позднего

портрета графини. Пожилая женщина лет сорока пяти. По общему облику похожа на мать, совсем не отличавшуюся красотой, но все черты Елизаветы Михайловны как бы исправлены и облагорожены художницей-природой. Фикельмон — темная брюнетка с необыкновенно красивыми бархатистыми глазами. Прекрасные волосы, сильно открытые по моде того времени плечи. Вряд ли живописец преувеличил их красоту. Умный, серьезный и в то же время оживленный взгляд. Глядя на эту литографию, понимаешь, что двадцатью годами раньше Дарья Федоровна считалась одной из самых красивых женщин николаевского Петербурга.

Не меньше очарования и в ее духовном облике. Ему поддавались почти все, кто входил с ней в общение.

П. А. Вяземский и А. И. Тургенев, близкие друзья Фикельмон, в своих письмах не раз вспоминают графиню. Надо сказать, что их огромная переписка очень интимна. Некоторые слишком уж мужские строчки издателям пришлось выпустить. Об общей своей приятельнице, не в меру восторженной Е. М. Хитрово, они порой отзываются язвительно и довольно-таки резко. Но как только речь заходит об ее дочери, графине Долли, эти уже немолодые, много видевшие люди пишут тепло, задушевно, а более чувствительный Тургенев даже восторженно. 28 июля 1833 года он обращается к Вяземскому из Женевы: «Неужели я не писал из Рима и не благодарил милую посольшу за письма в Неаполь? Жаль, что теперь поздно! Но ты объясни, как я мог — не забыть об этом, а пропустить случай сказать ей все, что она зажгла в душе моей и своими глазами, и своими умными разговорами, и поэтическими строками в письме о поэтической Италии. Как ее все помнят и любят в Неаполе! Как она к лицу этому земному раю. Там бы

взглянуть на нее! В цветниках виллы reale[1], при плеске волн Соррентских! У грота Виргилия...»

«Милая красавица посольша», «прекрасная посольша», «милая посольша» — Тургенев с глазу на глаз с Вяземским не перестает повторять ласковые слова об общем их петербургском друге. Есть некоторые сведения о том, что и император Александр I не только оказывал внимание юной Фикельмон во время ее первого приезда в Петербург, но и несколько увлекался ею.

Всех восторженнее отзывается о графине разбитый параличом слепец-поэт И. И. Козлов, никогда ее воочию не видевший, но очарованный ее лаской и добротой. Для него она та, «...кто взору и сердцам на радость улыбкою небес дана».

Если поверить Козлову, пришлось бы признать графиню Долли неким ангелом во плоти. К сожалению, таковых на нашей грешной земле не бывает. Попытаемся поэтому проверить отзывы очарованных друзей по выдержкам из дневников Фикельмон и ее многочисленным письмам, когда-то опубликованным в Париже. Последними, конечно, надо пользоваться с осторожностью. Нас интересует та Долли Фикельмон, которую знал Пушкин, а переписка с сестрой относится ко временам послепушкинским (1840—1854 годы). Однако в Петербург посольша приехала уже вполне сложившимся человеком. В своей основе ее душевный строй, особенно в первые годы после смерти поэта, несомненно, оставался тем же, что был раньше.

В петербургском дневнике очень много жизнерадостной светской болтовни, в письмах меньше радости (и чем дальше, тем меньше), но великосветских новостей, для

---

[1] Королевской

нас сейчас неинтересных, тоже много. Однако не в рассказах о бесконечных развлечениях большого света ценность и прелесть писаний графини Долли. Можно эти рассказы выпустить почти целиком, а то что останется — характеристики людей и событий, отзывы о виденном и прочитанном, вдумчивые размышления о государственных делах,— позволит нам яснее себе представить Дарью Федоровну Фикельмон.

Скажу сразу: очарование остается, но перед нами вовсе не ангел во плоти, а живой человек, у которого были, конечно, и немалые недостатки.

Графиня Долли, несомненно, добра и отзывчива. В письмах, вообще более содержательных, чем дневниковые записи, это особенно чувствуется. Дневник — прежде всего светская хроника, письма — задушевная беседа с любимой сестрой.

Нечего и говорить о том, что своих близких она любит крепко и действенно. Порой ей даже кажется, что в этой любви есть нечто греховное. Любит, но страшится вечной разлуки —«это приковывает меня к земле...»[1]— пишет она сестре.

Всю жизнь Долли Фикельмон старалась быть полезной людям, с которыми встречалась. Постоянно она за кого-нибудь хлопочет, то и дело просит сестру помочь — то новому австрийскому послу, незнакомому с петербургскими светскими обычаями, то испанскому генералу, то русской девице, просрочившей заграничный паспорт. В Милане, во время революции 1848 года, оставшись одна, ухаживает вместе с хирургом за смертельно ранен-

---

[1] Выдержки из французских писем Д. Ф. Фикельмон, за немногими исключениями, публикуются по-русски впервые. Перевод сделан автором.

ным поваром-французом. Больше же всего доброта Дарьи Федоровны проявляется в ее участии к чужому горю.

Знакомых у нее множество. У них неудачные увлечения, неудачные браки, болезни, смерти близких — обо всем этом графиня неизменно пишет в Петербург и для всех находит участливое слово. Нередко переживает чужое горе, как свое собственное. Она грустит не только о случившихся несчастьях, но и о тех, которые могут произойти. Особенно тревожится за судьбу талантливых людей.

Она, например, с восторгом слушает девочек-скрипачек Миланолло, но старшей из них пророчит близкую смерть. Графине кажется, что «ее игра и ее лицо (...) не предназначены к тому, чтобы долго оставаться на земле».

Итак, доброта Фикельмон и ее любовь к людям несомненны, но, надо сказать, что они обращены почти всегда лишь на своих — титулованных, знатных, хорошо воспитанных людей большого света. Только для больших артисток она зачастую делает исключение; вообще же в свой узкий круг Дарья Федоровна замыкается вполне сознательно.

В революционный 1848 год она пишет полушутя-полусерьезно:

«Бог его знает, что станется с миром, он идет к изменению всех социальных условий. Я большой враг коммунистических тенденций, так как люблю ближнего из народа по чувству справедливости и христианского человеколюбия, но ни в малой степени не из желания материального сближения. Поэтому именно мне ненавистны вагоны железных дорог и платформы вокзалов».

Из этой социальной оранжереи, в которой проходит жизнь Фикельмон, окружающий мир виден неясно даже

для ее наблюдательных глаз. Неудивительно поэтому, что «любовь к ближнему из народа» у нее мало в чем проявляется.

Русских простых людей она и не знает, и боится. В ее дневнике о русском народе сказано очень мало, но все же кой-какие записи есть. Вскоре после возвращения в Россию в качестве жены посла ее, например, тронула картина христосования во время пасхальной заутрени, когда «митрополит целует всех, кто есть в церкви, вплоть до самого бедного и грязного мужика», «этот образ братства, единения в лоне церкви прекрасен». (Надо сказать, что Фикельмон, несмотря на то, что большую часть жизни провела за границей, осталась верующей православной. по русскому обычаю не ела скоромного весь великий пост и каждый год говела). Она искренне жалеет простой народ, гибнущий от холеры. Но жалость сменяется у нее иными чувствами, когда начинаются грозные холерные волнения 1831 года. Она записывает: «...всякая чернь, приведенная в движение, ужасна».

В особенности же она опасается того, что может произойти в России, так как здешняя чернь «дика и ее нельзя образумить».

Спорить с графиней Фикельмон не будем. В данном случае она пишет понаслышке о людях, которых совершенно не знает. Двумя десятилетиями раньше знаменитая писательница противница Наполеона, m-me де Сталь, попав в Россию в разгар Отечественной войны и ни слова не зная по-русски, была поражена природной сметливостью русских крестьян и их добрым отношением к путешественникам.

Дарья Федоровна порой грубо ошибалась, но ум у нее все же несомненно был выдающийся. Не надо за-

бывать, что и такие почитатели ее, как Вяземский и Тургенев,— люди большой культуры и широкого ума. Идти с ними вровень в духовном отношении молодой женщине было не так-то просто. Хранитель пушкинской традиции, П. И. Бартенев, лично знавший многих современников и друзей Фикельмон, издавна считал ее женщиной «отменного ума». Этот ум, несомненно, углублялся и зрел с годами. Автор писем, особенно поздних, мудрее и грустнее той Долли Фикельмон, которая писала петербургский дневник и которую знал Пушкин, но основные качества ее интеллекта, конечно, остались те же.

Была умна и ее мать, дочь умнейшего Кутузова, но ум у нее довольно беспорядочный. У Дарьи Федоровны он строен, точен, организован. «Мой логический ум»,— говорит она сама о себе, и нельзя с ней в этом отношении не согласиться. Всегда ясна ее мысль (верная или ошибочная — другой вопрос), стройны и точны многочисленные и длинные рассуждения о политических, исторических, литературных и иных вопросах. То же самое надо сказать и об ее отлично построенных французских фразах (пражские и венские корректоры журналов их порядком исковеркали).

Самая сильная и своеобразная сторона ее мышления — это способность до некоторой степени предугадывать будущее. Недаром в свое время австрийская императрица прозвала совсем юную девушку «Сивиллой флорентийской». Она думала, конечно, о вещих девах, которым древние греки и римляне приписывали дар прорицания.

Ничего сверхестественного в графине Фикельмон, конечно, не было. Была та удивительная интуиция, которая зачастую позволяет большим шахматистам, всмотревшись в расположение фигур, предвидеть исход пар-

тии тогда, когда для игроков послабее он еще совсем неясен.

Конечно, многолетнее общение с мужем, опытным и умным дипломатом, тоже помогло ей в этом отношении. Однако Дарья Федоровна зачастую смотрит на вещи иначе, чем он. Самостоятельны и многие ее предвидения. Она предугадала, например, австро-прусскую войну 1866 года и франко-прусскую 1870 года, которые разыгрались уже после ее смерти.

Интереснее же всего ее предчувствия грядущего успеха революционных движений. Много раз она возвращается в письмах к одной и той же навязчивой мысли: «...мы идем навстречу концу мира, по крайней мере концу того социального мира, каким мы его знаем»,— это она писала больше ста лет тому назад.

«Бог его знает, что произойдет во Франции (...), апостолы социализма не теряют времени и вербуют себе сторонников среди деревенского населения. В один прекрасный день разразится катастрофа и все партии порядка, которые враждуют между собой, будут поглощены чудовищной красной республикой».

«Мне чудится, что мир галопом идет к новому варварству и что я вижу, как будущие поколения, словно дикие звери, бродят в лесах, усеянных развалинами нашей прекрасной цивилизации».

Скажу еще раз: сейчас для нас интересны не убеждения графини Фикельмон, а то, что она умела размышлять о предметах, большинству русских светских женщин того времени совершенно недоступных.

И в молодые еще годы у «красавицы-посольши», несомненно, были серьезные умственные интересы. В дневнике они чувствуются не часто — говорить сама с собой о «материях важных и высоких» Фикельмон, ви-

димо, не любила, но с друзьями она порой беседовала об очень серьезных вопросах.

В 1836 году друг Пушкина П. Я. Чаадаев напечатал в журнале «Телескоп» отрывок из своего первого «Философического письма», должно быть, по недоразумению пропущенный цензурой. В нем автор в крайне пессимистическом духе говорил об истории России и ее участии в духовной жизни человечества. Письмо, за которое автор, по приказанию царя, был объявлен душевнобольным, вызвало большие споры среди русских образованных людей. Прочла его, видимо, и графиня Долли, хотя по-русски она читала редко. Из дневника А. И. Тургенева мы узнаем, что он долго беседовал с Фикельмон и ее мужем о Чаадаеве. Другой раз он говорил, уже с одной Дарьей Федоровной, о религиозном философе Ламенэ, христианском социалисте, которого французские консерваторы считали почти что революционером.

Я уже упомянул о том, что почти все известные нам письма Дарьи Федоровны относятся к послепушкинскому времени, когда ей было 36 — 50 лет. Однако и в пору знакомства с поэтом, в 25—32 года, ее взгляды и интересы уже вполне сложились. Надо думать, например, что, как и впоследствии, она много и внимательно читала французскую историческую литературу своего времени. Особенно интересовала ее всегда история революций и причины их возникновения. Следует сказать, что у нее, убежденного консерватора, все же было, говоря современным языком, сильно развито сознание необратимости исторических процессов: «...нельзя остановить потока; что может сделать один человек против духа своего времени?»— писала она в 1848 году.

О широте ее духовных интересов отчасти можно судить и по довольно скудным в этом отношении днев-

никовым записям. Поговорив со знаменитым дерптским астрономом Струве, она замечает, например: «Если бы я стала ученой, то непременно стала бы астрономом». Фикельмон объясняет и причину своего выбора: эта наука «должна быть наиболее отрешенной от земли». Записывает она и свои впечатления от речи Гумбольдта на заседании, устроенном в честь знаменитого ученого нашей Академии наук.

Да, очень незаурядным человеком была Долли Фикельмон, но не будем чересчур отяжелять умными разговорами и умными книгами прелестный образ «посланницы богов — посланницы австрийской», как назвал ее Вяземский. Она была, конечно, много умнее и образованнее большинства дам петербургского большого света, но никак нельзя применить к ней пушкинские стихи:

Не дай мне бог сойтись на бале
Иль при разъезде на крыльце
С семинаристом в желтой шали
Иль с академиком в чепце!

Несмотря на грустные порой мысли, характер у Фикельмон,— особенно в молодости, видимо, был жизнерадостный и веселый. Из светских удовольствий в молодые годы она особенно любила маскарады, где можно вволю посмеяться, пофлиртовать, поинтриговать знакомых и незнакомых. Ее близкой подругой была сама императрица Александра Федоровна, тоже увлекавшаяся подобными приключениями. Царица, надо сказать, не только официально, но и запросто бывала в австрийском посольстве, а графиня Долли — во дворце. Дружили между собой и их дочери — девочки. Иногда обе молодые женщины (Александра Федоровна все же на шесть лет старше посольши) появлялись вместе не толь-

ко на маскарадах в аристократических домах, но и там, где веселились простые смертные, купившие входные билеты. Однажды в 1833 году полицейские наблюдатели пришли в ужас: в замаскированных дамах, за которыми рьяно ухаживали ничего не подозревавшие кавалеры, они узнали «благочестивейшую, самодержавнейшую» и супругу австрийского посла. Впрочем, на этот раз и посольша, и, особенно, царица сами испугались своего приключения в духе калифа Гаруна-аль-Рашида, бродившего в темноте переодетым по улицам Багдада.

Все же им было привычнее и спокойнее во дворцах и роскошных особняках знати, где тоже можно было, например, потанцевать в костюмах серых и розовых мышей, но уже не опасаться вольностей случайных кавалеров. Об одном таком бале у министра двора князя Волконского рассказал в письме все тот же поклонник графини Вяземский: «Вчерашний маскарад был великолепный, блестящий, разнообразный, жаркий, душный, восхитительный, томительный, продолжительный (...). Кадрили царицы были прекрасны, начиная с нее и с великой княгини (...). Старо-французский кадриль графини Фикельмон был также очень хорош, совершенно в духе того времени, и мог дать понятие, как деды влюблялись в наших бабушек с пудрою, мушками, фижмами и проч. Очень хороши были в этом кадриле сама графиня Долли и Толстая, фрейлина великой княгини. Бал продолжался до шестого часа (...)».

Но не все же балы и маскарады... Танцевала в петербургские времена графиня Долли, видимо, очень охотно, но любила проводить время и иначе. Музыку любила страстно,— кажется, она заразилась этой любовью в своей любимой Италии. Не надо забывать, что, с небольшими перерывами, графиня провела там четыр-

надцать лет. Фикельмон бывала на вечерах братьев Виельгорских, выдающихся музыкантов и покровителей музыки в Петербурге. Часто ездила в итальянскую оперу и на концерты. Иногда великосветские любители пели и играли и в особняке австрийского посольства. Очень часто супруги Фикельмон бывали на спектаклях французского театра на Каменном Острове, но там, по словам графини, был скорее салон, чем театр.

Много времени Дарья Федоровна уделяла чтению. Об ее интересе к историческим работам я уже говорил, но она пристально следила и за беллетристикой своего времени. Не чуждалась и произведений чисто развлекательных, вроде Александра Дюма и даже Мариво. Читала большею частью по-французски, но нередко и на других доступных ей европейских языках — немецком, английском и итальянском.

Император Карл V как-то сказал, что, изучая новый язык, мы приобретаем и новую душу. Нам думается — не новую душу, а ключ к пониманию чужой психики. У графини Долли была целая связка таких ключей. Пользоваться ими она умела. В ее писаниях мы находим немало верных и глубоких отзывов о прочитанном. То, что нравилось когда-то Долли Фикельмон, большею частью выдержало больше чем столетнее испытание временем.

Казалось бы, что в Петербурге Дарья Федоровна могла быть довольна и своей судьбой, и тем светским обществом, в котором она занимала такое блестящее положение. Молода, прекрасна собой. У нее любимая мать и любящий, заботливый муж. Он не богат, но по должности посла получает громадное содержание. Врагов у графини, кажется, нет, друзей много — вплоть до коронованной подруги.

И совсем неожиданно мы находим в ее письме к Вяземскому от 12 декабря 1831 года грустные и гневные строки. Двадцатисемилетняя посольша пишет: «Как я ненавижу это суетное, легкомысленное, несправедливое, равнодушное создание, которое называется обществом! Как Адольф (ваш приемыш)[1] прав, когда он говорит, что обществу нечего нас опасаться: оно так тяготеет над нами, его глухое влияние так могуче, что оно немедленно перерабатывает нас в общую форму».

Это не случайное настроение и не дань романтической литературе того времени. Двадцать лет спустя, в 1851 году, уже начинающая стареть Дарья Федоровна пишет сестре почти то же самое. «Свет, надо сказать, это соединение низостей и моральных ничтожеств, к которому проникаешься глубоким отвращением по мере того, как становишься старше. Сама тогда удивляешься всем жертвам, которые еще ему приносишь».

Мы видели, что графиня Фикельмон разделяла многие мнения, убеждения и предубеждения окружавшей ее великосветской среды. До конца в ней она все-таки не растворилась. Была для этого духовно слишком значительным человеком. Со средними светскими людьми ей, вероятно, было тоскливо — по крайней мере при долгом общении. Она несомненно любила свой уютный петербургский салон, но там собирались главным образом те, кого она в самом деле хотела видеть.

И еще одна мысль рождается, когда читаешь ее письма и выдержки из дневника. Была, видимо, у этой красавицы и умницы какая-то чисто личная душевная тре-

---

[1] Герой одноименного романа Бенжамена Констана, переведенного Вяземским. Письмо известно только в переводе его сына.

щина — одним недовольством обществом ее приступы грусти, мне думается, объяснить нельзя...

О волевой стороне душевной природы Дарьи Федоровны мы до недавнего времени, собственно говоря, не знали ничего. Судя по отзывам друзей, можно было ее счесть за женщину, хотя и деятельную, но очень мягкую, мечтательную и, вероятно, склонную поддаваться чужим влияниям. Выдержки из дневника в этом отношении мало что дают. Совсем другое впечатление остается от писем. Несмотря на свою несомненную доброту, графиня Долли, безусловно, обладала твердым, очень самостоятельным характером и, по-видимому, немалым личным мужеством. Эти качества у нее были, конечно, и в молодые годы. Фикельмон сама сознает, что воля у нее есть, и очень ценит это качество в других. Во время революционных событий 1847—1848 гг. она то и дело хвалит тех государей, министров и генералов, которые, по ее мнению, обнаруживают решительность и твердость. Уступки революционерам приводят ее, убежденную монархистку, в негодование. В 1851 году по поводу поведения португальского короля она пишет: «Какое несчастие, что государи так часто боятся дать себя убить! Несчастные, они предпочитают умирать морально и не понимают, что своими собственными руками убивают престиж королевской власти».

Сама она, насколько можно судить по живым и очень интересным описаниям революционных дней в Венеции и Вене, в трудные минуты держалась спокойно и мужественно. Не страшила ее и мысль о возможности лишиться всего, если революция победит: «Я заранее приучаю себя к этой мысли и, если когда-нибудь придется потерять все, кроме чести, я по крайней мере скажу это весело, и убеждение будет моим счастьем».

Романтическая красавица (она, не забудем, была очень красива и в пожилые годы) далеко не мягка и яро ненавидит «ближних из народа», которые пытаются покончить с феодальными порядками и разрушить дорогой ей старый мир.

Но кто же, в конце концов, эта внучка Кутузова, приятельница Пушкина, австрийская патриотка — русская или иностранка?

Ответить на этот вопрос не очень легко. Мы уже знаем, что, живя долгое время в Италии, Фикельмон сильно забыла русский язык. Приехав в 1829 году в Петербург, посольша, по крайней мере первое время, говорить по-русски не могла. Даже и митрополиту Филарету, который стал ее духовным руководителем, она отвечала по-французски на его русские вопросы и поучения. Друг друга собеседники, очевидно, понимали. Мы знаем также, что в 1830 году известный литератор О. М. Сомов давал графу и графине уроки русского языка.

На Россию Дарья Федоровна тогда несомненно смотрела глазами вдумчивой иностранки. О петербургской публике (не о «простом народе»— его туда не допускали), которую она наблюдала в загородных парках, графиня писала: «У толпы всегда такой вид, точно она развлекается не по собственному желанию, а по приказанию или по обязанности». Не нравилось ей и времяпрепровождение русского светского общества. Терпеть не могла столь любимых тогда карт, которые «здесь лишают общество движения и веселья». Огорчала ее пустота светских женщин, «созданий из газа, цветов и лент». Скучными и всего боящимися казались ей русские девицы: «похоже на то, что они считают беседу светским грехом, так как в этом отношении строгость

у них поучительная, что придает гостиным печальный и совершенно бесцветный оттенок».

Добавим от себя: все в николаевском Петербурге иначе, чем в милой сердцу Долли Фикельмон Италии, хотя светской пустоты и там, конечно, было немало.

Есть в дневнике Фикельмон и более глубокие замечания о русском «большом свете» тридцатых годов. Несмотря на свои монархические убеждения и личную близость с царской семьей, графиня и об ней порой отзывается довольно резко. Побывав в 1832 году на одном из царских балов, она пишет о том, что всюду были цветы, но и они казались ей ненастоящими, и все там ненастоящее— «символ этой фальшивой и поверхностной цивилизации».

В данном случае согласимся с графиней Долли — почти не зная России, наблюдательная женщина умела порой видеть то, чего не замечали вполне русские гости царя.

Будучи дипломатически неприкосновенной, она могла безбоязненно записывать в свои петербургские тетради все, что хотела. Но нет в ее дневнике ни слова о том, что она не могла не знать — о забивании людей на смерть шпицрутенами, о торговле крепостными, о многих других ужасах николаевской России, которых на Западе все же давно не было. Эти русские дела, видимо, оставались вне круга непосредственных наблюдений Дарьи Федоровны. Ничего она не говорит и о декабристах, хотя была знакома со многими родственниками и друзьями сибирских узников.

Несмотря на постоянное общение в Петербурге с нашими писателями, ни в дневнике, ни в письмах упоминаний о русской литературе почти нет. Можно только утверждать, что Фикельмон все же прочла «Клеветни-

кам России», «Бородинскую годовщину», уже упомянутое письмо Чаадаева, переведенного Вяземским «Адольфа» и какую-то, видимо, русскую, биографию Кутузова.

О русской музыке у нее нет ни слова.

Итак, почти иностранка, весьма равнодушная к русским делам?

Этого сказать нельзя — сложная была натура у Дарьи Федоровны Фикельмон и сложные взгляды. Нельзя прежде всего забывать, что до самой смерти матери она почти все время жила вместе с ней, а Елизавета Михайловна, как мы знаем, любила Родину горячо. Несомненным руссофилом был и муж графини. Можно думать, что и годы, проведенные в Петербурге, все же заставили ее в какой-то мере снова обрусеть.

Из дневника и других источников мы узнаем, например, что в течение ряда лет она вместе с матерью бывала в русском театре и восхищалась игрой знаменитого Каратыгина в ролях Ермака (1829) и Отелло (1836). Отмечает Фикельмон и открытие Александринского театра в 1832 году. О «Жизни за царя» («Иван Сусанин»), поставленной в 1836 году, она не упоминает, но за этот особенно интересный для нас год, когда началась последняя драма Пушкина, записей в дневнике, к сожалению, вообще почти нет.

Дарья Федоровна внимательно читает сочинения иностранцев о России и принимает близко к сердцу их зачастую легкомысленные и лживые повествования: «...они возбуждают во мне бешенство против тех, которые их пишут, не потрудившись даже собрать сведений». Известную книгу Кюстина «Россия в 1839 г.», в которой он резко критикует многое из того, что увидел в нашей стране, графиня и ее муж читают «с удивлением и сожалением». По мнению Фикельмон, «невозможно в одной

книге вместить столько желчи и горечи». Однако этого автора легкомысленным она не считает: «...он строг, часто несправедлив, склонен к преувеличению, непоследователен и недоброжелателен, но правда там есть». Надо сказать, что это, несомненно, собственные мысли Дарьи Федоровны — отзыв ее мужа о книге французского аристократа гораздо резче.

В русско-турецкую кампанию 1829 года наши боевые успехи — взятие Эрзерума и Адрианополя, подписание там победоносного мира, радовали графиню Долли, во всяком случае, не как иностранку. Яснее же всего ее русские чувства проявились в пожилые годы, во время Восточной войны и Крымской кампании, хотя Дарья Федоровна уже давно и окончательно обосновалась за границей. Узнав об объявлении войны Турции, она пишет сестре: «...русская часть моего полурусского, полуавстрийского сердца в большом волнении», и несколько позже: «Мы узнали о победе русского флота при Синопе, поздравляю тебя и не могу тебе сказать, какую радость доставила мне эта новость». Крайне враждебная позиция Австрии по отношению к России во время Восточной войны и Крымской кампании заставляет ее скорбеть: «...когда у тебя два отечества, их любишь, как отца и мать, и глубоко огорчаешься, если они не могут действовать вместе». За ходом войны Фикельмон следит очень внимательно, постоянно смотрит на карту. Приготовления союзников ее глубоко волнуют. «Русская половина сердца» все больше и больше дает себя знать. «Я читаю с ужасом и в то же время и с интересом о громадных приготовлениях Англии и Франции, и этот колоссальный флот для Балтийского моря стал моим кошмаром. Я уже боюсь за мой бедный Ревель».

Наши неудачи глубоко огорчают Дарью Федоровну. В одном из последних известных нам писем 1854 года мы уже ясно слышим голос русской патриотки, внучки Кутузова: «Третьего дня мы получили ложное известие о взятии Севастополя и были от него больны, но вчера известие было опровергнуто. Все мои мысли с вами с тех пор, как враг на русской земле».

Пусть читатель сам решит, можно ли считать графиню Фикельмон иностранкой...

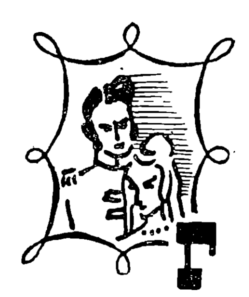
И, думаю, он согласится со мной, что среди множества женщин, которых знал Пушкин, она была одной из самых незаурядных.

Сложна и полна противоречий ее натура. Она добра, но способна остро ненавидеть тех, кого считает врагами дорогого ей общественного строя. Она умеет наблюдать, но порой не замечает того, что видят люди гораздо менее наблюдательные. Женщина выдающегося ума, случается, пишет вещи далеко не умные. Патриотка двух отечеств, но прежде всего все-таки русская, плохо справляется с русским языком. Дама «большого света» вдруг начинает грустно и гневно бранить то общество, в котором ее положение так блестяще. Все у нее, кажется, есть,— большего желать нечего, но недовольна она, мечется, не находит... Тесно ей в великосветской оранжерее, в которую Дарья Федоровна сама себя заперла.

Но, несмотря на все ее недостатки, и через сто лет, читая ее писания и воспоминания о ней, нельзя не почувствовать очарования этой женщины.

Теперь мы можем обратиться к отношениям гениального поэта и графини Долли Фикельмон.

Д. Ф. ФИКЕЛЬМОН В ЖИЗНИ ПУШКИНА



Графиня Фикельмон несомненно была женщиной выдающейся. По силе ума и широте интересов мало кто из приятельниц Пушкина мог с ней сравниться. Обладала она и немалой литературной культурой. Сама, как показывают ее дневник и письма, владела пером.

Можно таким образом считать, что Дарья Федоровна была душевно подготовлена к знакомству с великим поэтом. Неизвестно, однако, читала ли она уже Пушкина до приезда в Петербург в 1829 году. Вернее все же думать, что читала. Жила ведь душа в душу с матерью, живо и горячо интересовавшейся отечественной литературой. Проведя много лет в Италии, Фикельмон хоть и забыла родной язык, но вряд ли все же настолько, чтобы не быть в состоянии и читать по-русски.

Елизавета Михайловна Хитрово со старшей дочерью вернулась в Россию скорее всего в 1826 году, и, вероятно, как мы уже упомянули, летом следующего года началось ее личное знакомство с поэтом. Приехав в Петербург, Дарья Федоровна не могла не узнать, хотя бы отчасти, какое место Пушкин вскоре занял в душевном мире ее матери. По словам Н. В. Измайлова, она всей душой отдалась поэту, перенесла на него во всей полноте ту «неизменную, твердую, безусловную дружбу, возвышающуюся до доблести», о которой говорит князь Вяземский. Конечно, здесь была не только дружба — здесь

было и поклонение великому поэту, славе и гордости России, со стороны патриотически настроенной наследницы Кутузова, и материнская заботливость о бурном, порывистом, неустойчивом поэте (...) и, наконец,— «страстная, глубокая, чисто эмоциональная влюбленность в него, как в человека. Последнее — по крайней мере в первые годы — господствовало над остальным».

Есть основание думать, что молодой одинокий поэт не сразу отверг эту страсть стареющей женщины. Впоследствии, до самой смерти, он ценил в Елизавете Михайловне вдумчивого и верного друга, одного из самых верных своих друзей.

В 1925 году в бывшем дворце Юсуповых в Ленинграде, том самом, где девятью годами раньше убили Распутина, было найдено двадцать шесть писем Пушкина к Хитрово. Эта замечательная находка показала, как высоко он ценил общение с матерью Фикельмон. В своих письмах к ней поэт обсуждает ряд волновавших его политических и общественных вопросов, делится литературными новостями, откровенно сообщает о своих душевных переживаниях.

Но спокойные дружеские отношения Пушкина и Хитрово установились уже после его женитьбы. Приехав с мужем в Петербург летом 1829 года, графиня Долли застала еще тот тягостный для поэта период, когда Елизавета Михайловна была в него влюблена и добивалась взаимности.

Останавливаться на этом романе мы не будем, но упомянуть о нем нужно, чтобы яснее представить себе обстановку, в которой началось знакомство Пушкина и Дарьи Федоровны Фикельмон.

В дальнейшем нам придется не раз ссылаться на ее дневник. Скажем поэтому несколько слов об этом инте-

ресном и еще мало использованном источнике. Об его существовании, как было уже рассказано, я впервые узнал из сообщения князя Кляри. Первым исследователем, который воочию увидел дневник в Теплице, был пражский профессор А. В. Флоровский. По словам этого ученого, записи заполняют две больших тетради размером 20×25 см, переплетенные в обклеенный пестрой бумагой картон. В каждой тетради занято текстом по сто девяносто листов, то есть весь дневник имеет семьсот шестьдесят страниц.

Благодаря его обнаружению, сейчас можно значительно уточнить дату первой встречи поэта и графини Долли. До сих пор пушкинисты считали, что чета Фикельмон прибыла в Петербург во второй половине января 1829 года, а знакомство Пушкина с женой австрийского посла началось еще до его отъезда в Москву (8 марта) и оттуда на Кавказ, то есть между концом января и началом марта. Однако графини в это время еще не было в Петербурге. В январе состоялось лишь назначение Фикельмона, а приехал он из-за границы в Варшаву лишь в ночь с 30 июня на 1 июля. Пушкин в это время был в только что взятом Эрзеруме. В столицу он вернулся в начале ноября и, вероятно, вскоре же познакомился с Дарьей Федоровной. Возможно, что встреча произошла в салоне ее матери, которая в это время жила отдельно от дочери-посольши. Во всяком случае, к ноябрю 1829 года пушкинисты относят небольшой список высокопоставленных особ в одной из тетрадей Пушкина, в котором впервые упомянута фамилия Фикельмон. Вероятно, поэт собирался съездить к этим лицам.

Из дневника Дарьи Федоровны мы узнаем, что десятого декабря того же года он присутствовал на боль-

шом дипломатическом обеде в австрийском посольстве. Несомненно, однако, что в этот день Пушкин не первый раз был гостем посла и его жены. Прежде чем получить приглашение на обед, по светскому обычаю, он, начиная знакомство, должен был сделать Фикельмонам визит.

Какое впечатление Пушкин произвел на графиню при первой встрече, мы не знаем, но десятого декабря она записывает (конечно, по-французски — в дальнейшем этой оговорки делать не будем): «Пушкин, писатель, ведет беседу очаровательным образом, с увлечением и огнем; невозможно быть более некрасивым — это смесь наружности обезьяны и тигра; он происходит от африканских предков — в цвете его лица заметна еще некоторая чернота и есть что-то дикое в его взгляде»[1].

«Смесь наружности обезьяны и тигра...» — Дарья Федоровна, несомненно, не сама додумалась до этой экзотической характеристики. Так поэт однажды назвал себя сам в шуточном протоколе собрания товарищей по Царскосельскому лицею 19 октября 1828 года. Возможно, что это было его давнишнее прозвище, хорошо известное друзьям и через них дошедшее до графини.

Надо сказать, что Фикельмон, по-видимому, преувеличивала некрасивость Пушкина. Некрасивым он был — большинство портретов, можно думать, приукрашены, но голубые глаза поэта были подлинно прекрасны...[2]

Однако Дарья Федоровна, резко отозвавшись о наружности Пушкина, верно почувствовала очарование его блестящей беседы. Брат поэта, Лев Сергеевич, говорил,

---

[1] Записи Фикельмон, относящиеся к Пушкину, мы приводим в переводе Н. В. Измайлова.

[2] Любопытно мнение о наружности Пушкина В. И. Анненковой, урожденной Бухариной. Она считала, что поэт «изысканно и очаровательно некрасив».

что его разговоры с женщинами еще пленительнее его стихов. Хотелось бы нам знать, о чем же Пушкин говорил на этом обеде с таким увлечением и огнем? К сожалению, Фикельмон не записала его слов ни на этот раз, ни в других случаях. Многое, очень многое могла она сохранить для истории из бесед поэта, встречаясь с ним в течение семи с лишним лет. Могла, но не сохранила...

Тот факт, что Пушкин познакомился с Фикельмон лишь в ноябре 1829 года позволяет думать, что между ними быстро установились дружеские отношения.

Давно уже была найдена недатированная записка Дарьи Федоровны к Пушкину, которую предположительно относили к зиме 1829—1830 года. Графиня писала:

«Решено, что мы отправимся в нашу маскированную поездку завтра вечером. Мы соберемся в 9 часов у матушки. Приезжайте туда с черным домино и с черной маской. Нам не потребуется ваш экипаж, но нужен будет ваш слуга — потому что наших могут узнать. Мы рассчитываем на ваше остроумие, дорогой Пушкин, чтобы все это оживить. Вы поужинаете затем у меня и я еще раз вас поблагодарю. Д. Фикельмон.

Суббота.

Если вы захотите, мама приготовит вам ваше домино».

В Петербургском дневнике дата этой поездки приведена точно. 13 января 1830 года Дарья Федоровна записывает:

«Вчера 12-го мы доставили себе удовольствие поехать в домино и масках по разным домам. Нас было восемь — маменька, Катрин (гр. Е. Ф. Тизенгаузен),

г-жа Мейендорф и я, Геккерн, Пушкин, Скарятин (вероятно, Григорий Яковлевич) и Фриц (Лихтенштейн, сотрудник австрийского посольства). Мы побывали у английской посольши (леди Хейтсбери), у Лудольфов (семейство посланника Обеих Сицилий) и у Олениных (А. Н. и Е. М.). Мы очень позабавились, хотя маменька и Пушкин были тотчас узнаны, и вернулись ужинать к нам. Был прием в Эрмитаже, но послы были там без своих жен».

Ряженые, надо думать, по тогдашнему обычаю, ехали все вместе в больших санях-розвальнях. Присмотримся к ним поближе — попробуем узнать на этом примере, с кем Пушкин встречался у австрийского посла.

Трех дам — Елизавету Михайловну и ее дочерей мы знаем достаточно. Что касается четвертой, то пока трудно сказать с уверенностью, кто такая эта баронесса Мейендорф, видимо, близкая знакомая хозяйки.

Перейдем к мужчинам. В зимнюю маскарадную ночь в обществе молодых красавиц-графинь поэт, вероятно, был в ударе. Смеялся сам и заставлял смеяться других. Смеялся, конечно, и его превосходительство голландский посланник барон ван Геккерн де Беверваард, тот самый Геккерн, который впоследствии сыграл до сих пор не ясную, но несомненно гнусную роль в последней драме поэта. Любопытно, что, познакомившись с ним, Фикельмон со всегдашней своей проницательностью, буквально через несколько дней после приезда в Петербург отзывается о Геккерне более чем отрицательно: «...лицо хитрое, фальшивое, мало симпатичное: здесь его считают шпионом г-на Нессельрода — такое предположение лучше всего определяет эту личность и ее характер». Почему же, однако, через несколько месяцев «личность» попала в эти веселые сани? Сумела, видимо, понемногу

понравиться своим остроумием, умением болтать с дамами, житейской уверенной ловкостью. Через неделю после поездки графиня записала: «...я очень привыкла к его обществу и нахожу его остроумным и занятным; не могу скрыть от себя, что он зол — по крайней мере в речах, но я желала бы и надеюсь, что мнение света несправедливо к его характеру». Через некоторое время Дарья Федоровна, видимо, убедилась в противном. В 1830 году Геккерн — желанный гость ее салона, а позднее, до самой гибели Пушкина, его имя совершенно исчезает со страниц дневника графини. Напомним кстати, что голландский посланник, которого через немного лет некоторые называли «старик Геккерн», в действительности совсем еще не стар: он всего на восемь лет старше Пушкина.

О князе Лихтенштейне, ставшем в Петербурге как бы членом семьи Фикельмонов, можно только сказать, что Пушкин встречался с ним очень недолго — вскоре князь уехал на родину. Все же следовало бы когда-нибудь взглянуть на бумаги его потомков. Может быть, молодой дипломат и описал свои, вероятно, частые встречи с русским поэтом[1].

Остается офицер кавалергардского полка Скарятин — Григорий Яковлевич или его брат Федор,— во

---

[1] Пушкин, несомненно, встречался и еще с одним чиновником австрийского посольства князем Францем Лобковицем, молодым человеком, несколько прикосновенным к литературе.

Незадолго до конца войны я познакомился в Праге с правнуком его брата, князем Яном Лобковицем, который обещал мне со временем показать хранившиеся у него бумаги дипломата. К сожалению, замок князя Яна был реквизирован гитлеровцами. Приходилось ждать окончания военных действий, и этот источник, быть может, также интересный, остался для меня недоступным.

всяком случае, один из сыновей одного из убийц отца царствующего императора. Надо сказать, что и сам цареубийца, Яков Федорович, шарфом которого задушили Павла I, бывал у австрийского посла. Как рассказывает Пушкин в своем дневнике, в 1834 году на балу у Фикельмонов Николай I застал наставника своего сына Жуковского дружелюбно беседующим с убийцей его отца. Посол не знал о прошлом Якова Федоровича Скарятина и удивился странностям нашего общества.

Григорий Скарятин много лет был близким другом Дарьи Федоровны и ее сестры. Через девятнадцать лет после маскарадной поездки он, в чине генерала, был убит в Венгерском походе, и графиня написала сестре: «Я только что узнала, что ты и я потеряли один из предметов нашей самой нежной привязанности».

Вернемся, однако, к розвальням с веселой великосветской компанией, которые подъезжают то к одному, то к другому особняку. Господ мы теперь знаем, но кроме них в санях есть еще двое простых людей — неведомый нам возница и слуга Пушкина. Вероятно, это его неизменный Никита Тимофеевич Козлов, который носил когда-то на руках малютку Александра, был при поэте в его южной и северной ссылке, служил ему в Петербурге. Но только однажды, в Кишиневе, поэт мельком упомянул имя своего преданного слуги:

Дай, Никита, мне одеться:
В митрополии звонят.

В посольские особняки мы вслед за ряжеными не пойдем, но к Олениным заглянем. Речь ведь идет о президенте Академии художеств и директоре императорской Публичной библиотеки Алексее Николаевиче Оленине и его жене Елизавете Марковне. В их госте-

приимном доме Пушкин часто бывал в послелицейские годы. Оленин, обладавший большими связями, вместе с Жуковским хлопотал за Пушкина, когда в 1820 году ему грозила ссылка в Сибирь. В это время Анна Оленина, младшая дочь Алексея Николаевича, была двенадцатилетней девочкой. Проведя семь лет в изгнании, поэт вернулся наконец в столицу и осенью или ранней зимой 1827 года увидел Анну Алексеевну уже девятнадцатилетней девушкой. Пушкин влюбился в нее. В 1828 году он создал целый цикл стихов, связанный с Олениной. О ее глазах писал:

Потупит их с улыбкой Леля —
В них скромных граций торжество;
Поднимет — ангел Рафаэля
Так созерцает божество.

Летом 1828 года Пушкин сделал предложение Анне Алексеевне, которая ценила его гений, но к Пушкину-человеку, как кажется, была равнодушна. Подробностей этой попытки мы не знаем. Окончилась она неудачей — предложение было отвергнуто родителями, знавшими, что в это время над Пушкиным был учрежден секретный надзор полиции. Видный сановник, член Государственного Совета, Оленин не пожелал выдать дочь за «неблагонадежного сочинителя».

Следовало ожидать, что после неудачного сватовства Пушкин, по существовавшему и тогда, и много позже обычаю, перестанет бывать у Олениных. Кроме того, по-видимому, в 1829 году до него дошел какой-то обидный отзыв Анны Алексеевны. Самолюбивый поэт, по крайней мере на время, остро возненавидел девушку, на которой совсем недавно хотел жениться. В черновиках восьмой главы «Евгения Онегина», написанных

в декабре этого года, Оленина выведена под именем Лизы Лосиной, при появлении которой Онегин приходит в ужас. Она:

... Уж так жеманна, так мала,
Так неопрятна, так писклива,
Что поневоле каждый гость
Предполагал в ней ум и злость...

Сам Оленин в это время для Пушкина:

О двух ногах нулек горбатый...

При таких настроениях поэта совсем уже нельзя было предполагать, что 12 января 1830 года он, в домино и маске, войдет в дом Алексея Николаевича. Своей несомненно точной записью Фикельмон задала нам нелегкую загадку. Впрочем, разгадка, быть может, в том и заключается, что Пушкин был замаскирован. Отказываться от интересной поездки не хотелось. Надеялся, что не узнают, но ошибся. Как раз его-то и Е. М. Хитрово тотчас узнали — вероятнее всего, именно у Олениных, а не в домах послов.

Потом вся компания ужинала в австрийском посольстве. Хозяин дома отсутствовал,— как мы знаем, он в тот вечер был в гостях у царя. Не будем гадать о том, испортилось ли настроение поэта от того, что его узнали где не надо... В малой столовой посольства, наверное, снова было много шуток и смеха и, конечно, немало шампанского.

Вдовы Клико или Моэта
Благословенное вино...

в принятых тогда узких бокалах искрилось, пенилось, помогало забыть разные житейские неприятности. Блестели чудесные бархатистые глаза Фикельмон. Ничто

не говорит о том, что поэт увлекался ею в это время, но не любоваться умной красавицей он вряд ли мог.

Итак, через два месяца после начала знакомства Пушкин для графини Долли уже свой человек. Очевидно, ничего неудобного для себя она в этом не видит, хотя молодой супруге пожилого уже посла великой державы, несомненно, приходилось очень и очень осторожно выбирать своих друзей. В 1829 году, не забудем, Дарье Федоровне всего 25 лет, ее мужу уже 52. В наше время это еще очень немного, но сто с лишним лет назад на возраст смотрели иначе.

Быстрому сближению Фикельмон с Пушкиным удивляться не приходится. Для графини он прежде всего давнишний приятель ее матери. Замечала ли Долли Фикельмон, что Елизавета Михайловна трогательно и смешно влюблена в Пушкина? Вероятно, старалась не замечать. Она ведь очень любила мать...

В жизни поэта к тому же вскоре наступил перелом. Зиму 1829—1830, свою последнюю холостую зиму, он проводил шумно, рассеянно и, должно быть, не очень благоразумно. Вероятно, Дарья Федоровна, хотя бы отчасти, разделяла мнение матери, писавшей Пушкину: «Как можно такую прекрасную жизнь бросать за окошко».

Но письмо, из которого приведены эти строки, было отправлено в Москву, куда Пушкин уехал двенадцатого марта именно с целью упорядочить свою мятущуюся жизнь. Шестого апреля, в первый день пасхи, судьба его решилась. Поэт вторично сделал предложение Наталье Николаевне Гончаровой, и на этот раз оно было принято.

Догадываясь о цели поездки Пушкина, Хитрово, хотя и очень горевала, заранее решила примириться



ЕЛИЗАВЕТА МИХАЙЛОВНА ХИТРОВО.
С литографии Шевалье, сделанной
по акварельному портрету Гау.

с неизбежным. «Когда я утоплю в слезах мою любовь к вам,— писала она ему,— я тем не менее останусь все тем же существом, кротким и безобидным, которое за вас готово идти в огонь и в воду, потому что так я люблю даже тех, кого люблю немного».

Свое слово Елизавета Михайловна сдержала. Когда Пушкин женился, она осталась, как мы знаем, его преданным другом, но жизни поэта больше не осложняла.

Узнав о помолвке, Долли Фикельмон написала Пушкину письмо, которое, к сожалению, до нас не дошло. Зато ответное письмо поэта, то самое, копию которого я получил от князя Кляри, сохранилось в архиве теплицкого замка. Пока это единственное известное письмо поэта к графине. Оно представляет большой интерес, так как впервые мы слышим голос поэта, непосредственно обращенный к Д. Ф. Фикельмон. Приведем в переводе наиболее существенную часть этого письма, посланного, как мы знаем, 25 апреля 1830 года из Москвы:

«С вашей стороны очень жестоко быть столь обаятельной и заставлять столь живо ощущать горесть оставаться вдали от вашего салона. Ради бога, графиня, не думайте, однако, что потребовалось неожиданное счастье получить от вас письмо, чтобы сожалеть о местах, которые вы украшаете (...).

Разрешите ли вы мне сказать вам, графиня, что ваши упреки настолько несправедливы, насколько ваше письмо обольстительно. Поверьте, что я останусь всегда искренним поклонником вашего очарования столь простого, вашего разговора столь приветливого и столь увлекательного, хотя вы имеете несчастье быть самой блестящей из наших светских дам».

Письмо Фикельмон, на которое отвечает Пушкин, несомненно, было связано с предстоящей женитьбой поэта, слухи о которой распространились в Петербурге во второй половине апреля. Пушкин в изящной форме защищается против упреков графини, которая, вероятно, считала, что, женившись, он переменит свое отношение к ней. Быть может, станет менее внимательным.

Надо сказать, что самая возможность таких упреков со стороны опытной светской женщины говорит о том, что отношения Пушкина и Фикельмон в это время, несомненно, были приятельскими.

Сейчас нам надо еще остановиться на одном эпизоде из переписки с поэтом самоотверженной Е. М. Хитрово. Справившись со своими переживаниями, она сразу же начинает заботиться об его будущей жене. Девятого мая Елизавета Михайловна пишет поэту, что «Долли и Катрин просят Вас рассчитывать на них, чтобы вывозить в свет Вашу Натали». Пушкин отвечает краткой запиской:

«Покровительницы, которых Вы так любезно обещаете, слишком уж блестящи для моей бедной Натали. Я всегда у их ног, так же как и у Ваших».

Надо сказать, что одни и те же слова, даже если они точно переведены, зачастую в подлиннике звучат иначе, чем по-русски. «Бедной» в этой фразе, по-французски — всего лишь словесное украшение, а «быть у чьих-нибудь ног» — просто старинная форма вежливости. По существу же из письма Хитрово следует, что обе молодых графини, во-первых, считают себя приятельницами Пушкина, и, во-вторых, очевидно, в свете никто не сплетничает по поводу их дружбы с поэтом. Собственно говоря, «покровительницей» молодой женщины, начинающей выезжать в большой свет, скорее приличествовало стать

пожилой Елизавете Михайловне, но легко понять, что в светском обществе над этим начали бы смеяться...

Свадьба Пушкина по разным причинам долго откладывалась. На короткое время (конец июня — начало августа) он приехал в Петербург и затем снова вернулся в Москву. Очевидно, повидавшись с поэтом, Фикельмон записывает 11 августа 1830 года: «Вяземский уехал в Москву и с ним Пушкин, писатель; он приезжал сюда на некоторое время, чтобы устроить дела, и теперь возвращается, чтобы жениться. Никогда еще он не был таким любезным, таким полным оживления и веселости в разговоре.— Невозможно быть менее притязательным и более умным в манере выражаться».

Графиня Долли очень ценила в людях умение вести беседу и, в особенности, способность говорить просто и занимательно. Чувствуется, что именно эта особенность Пушкина, оттенявшая его блестящее остроумие и ум, особенно восхищала молодую женщину.

Интересно, что всего за неполных два года перед тем двадцатилетняя Анна Алексеевна Оленина видела поэта далеко не таким: «Лицо его было выразительно, конечно, но некоторая злоба и насмешливость затмевали тот ум, который виден был в голубых или, лучше сказать, стеклянных глазах его. Арапский профиль, заимствованный от поколения матери, не украшал лица его. Да и прибавьте к тому ужасные бакенбарды, растрепанные волосы, ногти как когти, маленький рост, жеманство в манерах, дерзкий взор на женщин, которых он отмечал своей любовью, странность нрава, природного и принужденного, и неограниченное самолюбие — вот все *достоинства* телесные и душевные, которые свет придавал русскому поэту XIX столетия (...).

Итак все, что Анета могла сказать после короткого

знакомства, есть то, что он умен, иногда любезен, несносно самолюбив и неделикатен».

Как вы видите, в этой характеристике, данной Олениной, кроме отзыва об уме, все иначе, чем у Фикельмон. У Пушкина, по мнению Олениной, жеманные манеры, он неестественен, дерзок с женщинами, неделикатен. Почти что два разных человека... Который же из них изображен верно? Я думаю, что оба. Оленина преувеличивает, но не очень сильно. Поэт в нее влюблен, но ум ему говорит, что перед ним очень заурядная, неглубокая, хотя и не глупая светская девушка. Говорить с ней, как с равной, он не может. Любуется, но смотрит, должно быть, несколько свысока и невольно обижает.

А в графине Долли он видит исключительно умную, блестящую собеседницу, не говоря уже о ее способности очаровывать и редкой красоте. В салоне Фикельмон поэт прост и естественен. Он беседует с женщиной, хотя и не гениальной, но достойной общества гения.

18 февраля 1831 года Пушкин наконец обвенчался с Н. Н. Гончаровой. Первые месяцы молодые прожили в Москве, а в середине мая, не поладив с тещей, поэт переехал с женой в Петербург.

Вернемся снова к недавно опубликованным выдержкам из дневника Фикельмон. 21 мая она записывает: «Пушкин приехал из Москвы и привез свою жену, но не хочет еще ее показывать (в свете). Я видела ее у маменьки — это очень молодая и очень красивая особа, тонкая, стройная, высокая — лицо Мадонны, чрезвычайно бледное, с кротким, застенчивым и меланхолическим выражением,— глаза зеленовато-карие, светлые и прозрачные, взгляд не то, чтобы косящий, но неопределенный,— тонкие черты, красивые черные волосы. Он очень в нее влюблен, рядом с ней его уродливость еще более

поразительна, но когда он говорит, забываешь о том, чего ему не достает, чтобы быть красивым — он так хорошо говорит, его разговор так интересен, сверкающий умом без всякого педантства».

Портретов Натальи Николаевны Пушкиной сохранилось немало. Художники охотно изображали красавицу-поэтшу. Немало мы знаем и описаний ее внешности в переписке и мемуарах современников. Прелестная словесная акварель, набросанная Фикельмон после первой встречи с Натальей Николаевной,— едва ли не лучший ее литературный портрет. Чувство прекрасного, которое было так сильно у Дарьи Федоровны, сказалось здесь в полной мере. Сказалась в ее записи и всегдашняя способность наблюдать людей. Фикельмон сразу заметила, что Пушкин влюблен в свою юную жену. Очень, конечно, естественное состояние молодожена, но надо сказать, что за долгие месяцы жениховства чувство поэта к Наталье Николаевне одно время сильно остыло. Ряд надежных сведений говорит о том, что под венец он шел неохотно, почти что по обязанности.

За неделю до свадьбы он пишет своему приятелю Н. И. Кривцову: «До сих пор я жил иначе, как обыкновенно живут. Счастия мне не было (...). Мне за 30 лет. В тридцать лет люди обыкновенно женятся — я поступаю как люди и, вероятно, не буду в том раскаиваться. К тому же я женюсь без упоения, без ребяческого очарования (...). Горести не удивят меня: они входят в мои домашние расчеты. Всякая радость будет мне неожиданной».

Но свадьба состоялась, и радостно удивленный Пушкин почувствовал, что к нему в самом деле пришло долго не дававшееся счастье. Через шесть дней после венчания он пишет П. А. Плетневу: «Я женат — и счастлив;

одно желание мое, чтоб ничего в жизни моей не изменилось — лучшего не дождусь. Это состояние для меня так ново, что, кажется, я переродился».

Через три месяца счастливого, влюбленного поэта увидела у себя Фикельмон. По-прежнему он кажется ей очень некрасивым, даже уродливым человеком, о внешности которого забываешь, когда он начинает говорить. По-прежнему графиня отмечает сверкающий ум поэта. С обычной своей проницательностью она чувствует, что Пушкин счастлив. Но кроме счастья в настоящем она видит катастрофу в будущем. Это почти невероятно, но это так... Уже много лет тому назад, в 1884 году, было опубликовано письмо Дарьи Федоровны к Вяземскому, отправленное через четыре дня после разобранной нами дневниковой записи (25 мая 1831 года). В нем имелись такие строки: «Пушкин к нам приехал к нашей большой радости. Я нахожу, что он в этот раз еще любезнее. Мне кажется, что я в уме его отмечаю серьезный оттенок, который ему и подходящ. Жена его прекрасное создание; но это меланхолическое и тихое выражение похоже на предчувствие несчастья. Физиономии мужа и жены не предсказывают ни спокойствия, ни тихой радости в будущем; у Пушкина видны все порывы страстей; у жены вся меланхолия отречения от себя. Впрочем, я видела эту красивую женщину только один раз».

Еще определеннее выразились опасения графини в письме к Вяземскому двенадцатого декабря того же года: «Пушкин у вас в Москве; жена его хороша, хороша, хороша! Но страдальческое выражение ее лба заставляет меня трепетать за ее будущность».

Пушкинисты единодушны в оценке этого удивительного предвидения, которое говорит о глубоком уме и

совсем исключительной интуиции 27-летней Дарьи Федоровны. Когда Пушкин женился, многие из его друзей, знавшие непостоянный нрав поэта, не ожидали ничего хорошего от этого брака, но несчастья непоправимого, катастрофы, кроме Фикельмон, не ожидал никто.

Наталье Николаевне и отношению к ней мужа посвящено еще несколько интересных записей.

25 октября 1831 года поэт с женой присутствовал на большом вечере у Фикельмонов. Это было первое появление Пушкиной в высшем обществе Петербурга. Графиня на следующий день записала: «Госпожа Пушкина, жена поэта, здесь впервые явилась в свет; она очень красива и во всем ее облике есть что-то поэтическое — ее стан великолепен, черты лица правильны, рот изящен и взгляд, хотя и неопределенный, красив; в ее лице есть что-то кроткое и утонченное; я еще не знаю, как она разговаривает, ведь среди 150 человек вовсе не разговаривают,— но муж говорит, что она умна. Что до него, то он перестает быть поэтом в ее присутствии; мне показалось, что он вчера испытывал все мелкие ощущения, все возбуждение и волнение, какие чувствует муж, желающий, чтобы его жена имела успех в свете». И на этот раз Долли Фикельмон не ошиблась. Впоследствии, когда светские успехи красавицы Натальи Николаевны стали едва ли не главным содержанием ее жизни, Пушкин пережил в связи с этим немало горьких дней. Уже в сентябре 1832 года он пишет жене: «Я только завидую тем из них (друзей), у коих супруги не красавицы, не ангелы прелести, не мадонны etc, etc. Знаешь русскую песню —

Не дай бог хорошей жены.
Хорошу жену часто в пир зовут.

А бедному-то мужу во чужом пиру похмелье,
Да и в своем тошнит».

Позднее это похмелье стало еще сильнее, но, надо сказать правду,— наступило оно далеко не сразу. Привезя жену в столицу, поэт первое время несомненно сам увлекался и гордился ее светскими успехами. А зоркая наблюдательница Фикельмон не расставалась с мыслью о несчастном будущем четы Пушкиных. 12 октября 1831 года, после бала у министра двора князя Кочубея и за месяц до письма Вяземскому, о котором мы уже говорили, она пишет в дневнике: «Поэтическая красота г-жи Пушкиной проникает до самого моего сердца. Есть что-то воздушное и трогательное во всем ее облике — эта женщина не будет счастлива, я в этом уверена! Сейчас ей все улыбается, она совершенно счастлива, и жизнь открывается перед ней блестящая и радостная, а между тем голова ее склоняется и весь ее облик как будто говорит: «Я страдаю». Но какую же трудную предстоит ей нести судьбу — быть женою поэта, и такого поэта, как Пушкин!»

Что сказать об этих задушевных строках, хорошо переведенных Н. В. Измайловым? В подлиннике в них еще больше литературного блеска, но, самое главное,— еще и еще раз Дарья Федоровна Фикельмон оправдывает прозвание «Сивиллы флорентийской»— предсказательницы будущего.

Но, по-прежнему восхищаясь красотой Пушкиной, графиня начинает очень скептически относиться к ее уму. Фикельмон, как мы видели, записала мнение Пушкина, считавшего жену умной, но сама она думает иначе. В сентябре 1832 года, когда у Пушкина уже началось «похмелье» от всеобщего увлечения внешностью его жены, в дневнике наблюдательницы появляется такая

запись: «Госпожа Пушкина, жена поэта, пользуется самым большим успехом; невозможно быть прекраснее, ни иметь более поэтическую внешность, а между тем, у нее не много ума и даже, кажется, мало воображения».

Впоследствии, как мы увидим, в связи с дуэльной драмой Фикельмон отзывается об уме Натальи Николаевны тоже довольно резко. Права ли она? Мне кажется, следует ответить — и неправа, и права. Практически, житейски жена Пушкина несомненно была далеко не глупой молодой женщиной. Сказывалась в ней, я думаю, и кровь предков — деятельных и оборотистых промышленников Гончаровых. Прислушаемся к тому, как отзывается о ней в письмах сам поэт: «Какая ты умненькая, какая ты миленькая! Какое длинное письмо! как оно дельно! благодарствуй, женка! Продолжай, как начала, и я век за тебя буду бога молить» (25 сентября 1832 года).

«Ты, мне кажется, воюешь без меня дома, сменяешь людей, ломаешь кареты, сверяешь счеты, доишь кормилицу. Ай-да хват баба! что хорошо то хорошо» (3 октября того же года).

«Ты умна, ты здорова — ты детей кашей кормишь — ты под Москвой. Все это меня порадовало и успокоило; а то я был сам не свой». (24 апреля 1834 года).

Перечитывая то ласковые, то сердитые, но всегда почти задушевные письма Пушкина к жене, нельзя все же не заметить, что о духовных интересах своей красавицы Натали он был, в общем, мнения невысокого. Очень редко поэт упоминает о прочитанных книгах, о виденных картинах. Отвлеченных вопросов, политических новостей, даже таких, о которых можно было говорить, не опасаясь перлюстрации, не касается совсем. Не беседует Пушкин с женой и о собственном творчест-

ве, которое, по всему судя, мало ее интересовало. Если и говорит о своих произведениях, то только как об источниках дохода. В денежных делах Наталья Николаевна, как кажется, разбиралась неплохо. Издавая «Современник», поэт иногда дает жене деловые поручения, и она, по мере сил, толково их исполняет (но, по-видимому, путает при этом Гоголя с Кольцовым!).

Скажем еще раз — в делах житейских Пушкина далеко не глупа, но она целиком на земле. Оторваться от нее, приблизиться к тем духовным вершинам, где царит ее гениальный муж, она совершенно не в состоянии. В этом отношении Фикельмон права — ум у Натальи Николаевны небольшой, очень небольшой, а художественное воображение — совсем уже не ее удел.

Жена поэта часто встречалась в обществе с графиней Фикельмон и, можно думать, понимала, что ни в чем, кроме красоты, соперничать с посольшей не может. Она, несомненно, ревновала мужа к Дарье Федоровне — справедливо или нет, об этом мы скажем дальше. Вообще же, хорошо известно, что, нежно любя жену, Пушкин увлекался рядом других женщин. В письмах к Наталье Николаевне ему не раз приходилось оправдываться против ее подозрений. Кроме графини Долли она ставила ему в укор Александру Осиповну Смирнову, рожденную Россет, графиню Наталью Львовну Соллогуб, по мужу Свистунову, и многих других. Среди предметов ее ревности фигурируют, надо сказать, и женщины, вовсе поэта не занимавшие. Еще будучи невестой, Таша Гончарова вообразила (в этом отношении ее воображение была развито), что жених гостит у некой княгини Голицыной, к которой Пушкин заехал по делам. Потом, в Петербурге, в число предполагаемых увлечений мужа по ошибке попала никому неведомая Полина Шишкова.

Но не будем удивляться чрезмерной ревности жены Пушкина — можно сказать с уверенностью, что женское чутье не всегда ее обманывало...

Долли Фикельмон связывает с Пушкиным еще одно имя. Это графиня Мусина-Пушкина. Запись 17 ноября 1832 года гласит: «Графиня Пушкина очень хороша в этом году, она сияет новым блеском благодаря поклонению, которое ей воздает Пушкин-поэт». Н. В. Измайлов предполагает, что речь идет о графине Марии Александровне Мусиной-Пушкиной урожденной княжне Урусовой. Пушкин был влюблен в нее в 1827 году и изобразил графиню в чудесном стихотворении «Кто знает край, где небо блещет...» Однако, как это нередко бывало с поэтом, он быстро разочаровался в предмете своего увлечения. М. А. Цявловский указывает, что в письме П. А. Вяземского к жене от 2 мая 1828 года приведены слова Пушкина о Марии Александровне: «...у нее душа прачки».

Более вероятно предположение о том, что запись Фикельмон относится к знаменитой красавице Эмилии Карловне Мусиной-Пушкиной, урожденной Шернваль, которую воспевал Лермонтов («Графиня Эмилия белее чем лилия...»). О «поклонении» ей Пушкина в 1832 году, насколько я знаю, никто, кроме Дарьи Федоровны, не сообщает.

Дальнейшие записи, сделанные Дарьей Федоровной при жизни Пушкина, малозначительны и для читателя, подробно не знакомого с пушкиноведением, не интересны. В середине 1835 года Фикельмоны уехали в Австрию и вернулись только в конце года. Развитие последней драмы поэта графиня наблюдала воочию, но, к сожалению, за весь 1836 год она сделала одну лишь запись, не относящуюся к Пушкину. Обширную запись, посвя-

щенную его дуэли и смерти, мы рассмотрим в последней главе.

До сих пор мы занимались отзывами Долли Фикельмон о Пушкине и его жене. Как мы видели, они красочны и интересны, но — опять приходится повторить: к сожалению, их немного.

Что же говорит сам поэт о чете Фикельмон?

Довольно часты упоминания о Дарье Федоровне и ее муже в письмах Пушкина. 2 мая 1830 года он, например, спрашивает Вяземского: «Правда ли, что ты собираешься в Москву? Боюсь графини Фикельмон. Она удержит тебя в Петербурге. Говорят, что у Канкрина (министра финансов) ты при особых поручениях и настоящая служба твоя при ней».

В письмах к Е. М. Хитрово он несколько раз в очень церемонной форме передает поклоны обеим ее дочерям. В конце 1832 года просит разрешения представить на балу своего шурина Гончарова.

Более содержательны упоминания о Фикельмонах в письмах поэта к жене. Он пишет ей, например, из Болдина 8 октября 1833 года: «Так Фикельмоны приехали? Радуюсь за тебя. Как-то, мой ангел, удадутся тебе балы?» Возможно таким образом, что в это время Дарья Федоровна, наряду с теткой Натальи Николаевны, фрейлиной Е. И. Загряжской, все еще немного опекала молодую Пушкину, два года тому назад вступившую в большой петербургский свет. Вероятно, поэт был ей за это благодарен, но сам он об этом ничего не говорит.

Наиболее интересны упоминания о графине Долли в письмах 1834 года. 15 апреля Наталья Николаевна уехала с детьми к родным, и Пушкин прожил в Петербурге один до середины августа. Около 5 июня он пишет: «Летний сад полон. Все гуляют. Графиня Фикельмон

звала меня на вечер. Явлюсь в свет первый раз после твоего отъезда. За Соллогуб я не ухаживаю, вот те Христос; и за Смирновой тоже (...). Я не поехал к Фикельмонам, а остался дома, перечел твое письмо и ложусь спать». 8 июня поэт сообщает: «Фикельмон болен и в ужасной хандре». Во второй половине того же месяца он уверяет жену, что никуда не ездит: «Говорят, что свет живет на Петергофской дороге. На Черной Речке только Бобринская и Фикельмон. Принимают, а никто не ездит. Будут большие праздники после Петергофа. Но я уже никуда не поеду». Несмотря на эти уверения, а может быть, и позабыв о них, Пушкин 11 июля описывает бал у Фикельмонов: «Теперь расскажу тебе о вчерашнем бале. Был я у Фикельмон. Надо тебе знать, что с твоего отъезда я кроме как в клобе нигде не бываю. Вот вчерась, как я ввалился в освещенную залу с нарядными дамами, то и смутился, как немецкий профессор: насилу хозяйку нашел, насилу слово вымолвил. Потом, осмотревшись, увидел я, что народу не так-то много, и что бал это запросто, а не раут (...). Вот, наелся я мороженого и приехал к себе домой в час. Кажется, не за что меня бранить».

Это последнее упоминание о Фикельмон в переписке Пушкина. Неизвестно, поверила ли Наталья Николаевна искренности мужниного письма. Вряд ли... Опытный светский человек, блестящий собеседник, давний уже приятель графини Долли вдруг теряется, как застенчивый немецкий педант. Очень уж ясна стилизация в этих строках. Перед нами сочинение Александра Пушкина, написанное с оправдательной целью, а не откровенная беседа мужа с женой. Интересно отметить, что и князю Вяземскому приходилось писать своей умной и не ревнивой жене, что ревновать его к «мадам ламбассандрис»

(посольше) не стоит. По-видимому очарование графини Фикельмон вообще пугало жен ее друзей...

В единственной сохранившейся тетради дневника Пушкина (специалисты спорят, существовала ли вообще еще одна) есть около десятка записей, так или иначе касающихся графини и ее мужа, но для нас они малоинтересны. Выводы, которые можно сделать из писем Пушкина и этих записей в отношении знакомства поэта с графиней Фикельмон и ее мужем, довольно скудны. Он был, как видно, исправным посетителем официальных приемов-балов, раутов, обедов в доме австрийского посла. Об этой парадной, казовой стороне знакомства Пушкин главным образом и пишет. Попутно отмечает кое-какие заинтересовавшие его разговоры с самим Фикельмоном и его гостями. О графине Долли, своей во всяком случае близкой знакомой, он не говорит почти ничего. При самом внимательном чтении всех упоминаний о хозяйке дома невозможно сказать, как же относится к ней поэт и что он о ней думает. О других женщинах, несравненно более заурядных, чем Фикельмон, у Пушкина отзывов немало — вплоть до наименования графини Соллогуб «шкуркой» в одном из писем к жене. О своем отношении к Дарье Федоровне поэт упорно молчит. Не будем пока пытаться выяснить, в чем же тут дело, но запомним этот несомненный факт.

Оставим теперь на время вопрос о личных отношениях поэта и графини Долли и взглянем на Пушкина, посетителя не официальных приемов, а гостеприимного салона посольши. Вряд ли ему были приятны встречи с особами императорской фамилии, которые бывали там запросто. Но там же в дружеской беседе проводили время дипломаты, придворные, дамы большого света, гвардейские офицеры, заезжие иностранцы, некото-

рые из русских друзей поэта — Вяземский, Жуковский, А. И. Тургенев. Пушкин всегда мог выбрать людей, с которыми ему было интересно поговорить.

Графиня Фикельмон, судя по всему, отличная, заботливая хозяйка. Ее дом так же уютен, как ее в основе добрая душа. Из дневника Дарьи Федоровны мы узнаем, что ее личные комнаты выходили на юг, и там было много цветов. Она любила свою красную гостиную и кабинет, в котором цвели нарядные камелии,— от себя добавим: модные цветы эпохи романтизма. Там часто пили чай, а ужинали в зеленом салоне. Фикельмон принимала по вечерам. Приемы ее матери, жившей, не забудем, в том же особняке, считались почему-то «утрами», хотя продолжались от часу до четырех.

В «Старой записной книжке» Вяземский, постоянный гость и матери, и дочери, оставил прекрасную характеристику этих собраний: «Вся животрепещущая жизнь европейская и русская, политическая, литературная и общественная, имела верные отголоски в этих двух родственных салонах. Не нужно было читать газеты, как у афинян, которые также не нуждались в газетах, а жили, учились, мудрствовали и умственно наслаждались в портиках и на площади. Так и в этих двух салонах можно было запастись сведениями о всех вопросах дня, начиная от политической брошюры и парламентской речи французского или английского оратора и кончая романом или драматическим творением одного из любимцев той литературной эпохи. Было тут обозрение и текущих событий, была и передовая статья с суждениями, а иногда и осуждениями, был и легкий фельетон, нравоописательный и живописный. А что всего лучше, эта всемирная, изустная, разговорная газета издавалась по направлению и под редакцией двух любезных и ми-

лых женщин. Подобных издателей не скоро найдешь! А какая была непринужденность, терпимость, вежливая, и себя, и других уважающая свобода в этих разнообразных и разноречивых разговорах. Даже при выражении спорных мнений не было слишком кипучих прений; это был мирный обмен мыслей, воззрений, оценок — система свободной торговли, приложенная к разговору». Пушкин, хотя он об этом и умалчивает, несомненно, был частым гостем в доме Фикельмонов. Тот же Вяземский говорит, что «их салон был также европейско-русский. В нем дипломаты и Пушкин были дома».

Как известно, отношения поэта с высшим обществом столицы, так называемым «большим светом»,— это одна из больных сторон его биографии. А. С. Хомяков, по всей вероятности, преувеличивает, говоря, что Пушкина принимали в великосветских домах из милости. Однако права гениального человека тогдашние русские верхи понимали плохо, а права старинного, но небогатого и нечиновного дворянина казались им, надо думать, недостаточными. Много дверей открывалось не перед первым поэтом России, а перед мужем блистательно красивой жены.

На Западе сто с лишним лет тому назад у гения было больше прав, чем в России, а экстерриториальный особняк австрийского посла и в юридическом, и в переносном смысле слова находился на западно-европейской территории. Пушкин входил в него желанным, почетным и, можно думать, любимым гостем.

Н. В. Измайлов несомненно прав, говоря: «Пушкин всю жизнь стремился на Запад, и Запад всю его жизнь не давался ему. Тем более должен был он оценить дружбу с семейством Хитрово и Фикельмон: их салон был поистине «окном в Европу», откуда вливались в туманный

и холодный Петербург яркий свет и вольный воздух или, по крайней мере, их отражения».

Поэт был в большей или меньшей степени знаком со всем дипломатическим корпусом. Некоторые из послов и посланников (французский — барон Барант, баварский — граф Лерхенфельд, вюртембергский — князь Гогенлоэ-Кирхберг, саксонский — барон Лютцероде) хорошо знали Пушкина и высоко ценили его, как поэта. В особенности это надо сказать о Лютцероде, прекрасно овладевшем русским языком и даже переводившем Пушкина. Однако, вне всякого сомнения, именно салоны Фикельмон и ее матери были для поэта главным источником сведений о западно-европейской жизни, источником, который не могла замутить царская цензура. Там он имел даже возможность получать книги, не допускаемые к ввозу в Россию. Известно, например, что граф Фикельмон в 1835 году подарил поэту два тома «контрабанды», как он сам назвал в приложенной записке,— запрещенные стихотворения Генриха Гейне. Посол иногда оказывал своим русским знакомым и более деликатные услуги — некоторые письма А. И. Тургенева Вяземскому, как оказывается, привозили из-за границы курьеры австрийского посольства.

Всего интереснее было бы узнать, какие же именно политические разговоры с участием Пушкина происходили в салоне графини Фикельмон. Она ведь интересовалась политикой, особенно иностранной, так же горячо, как и поэт. К сожалению, пока мы этого не знаем. Можно только предполагать, что во время польского восстания, вернее, русско-польской войны 1830—1831 годов, Дарья Федоровна и Пушкин немало о ней спорили. Они оказались в противоположных лагерях. Хорошо известно, что поэт, исходя из русских государственных



А. С. ПУШКИН
в возрасте двух лет.

интересов, как он их понимал, убежденно и страстно желал победы над поляками. Об этом вопросе, как у нас, так и за рубежом (особенно в славянских странах) существует огромная литература. Поляки долго не могли простить Пушкину «Клеветникам России» и «Бородинскую годовщину». Надо сказать, что и среди русских его современников отношение к этим стихам было далеко не единодушным. Пожалуй, всех резче отзывается о них один из ближайших друзей Пушкина, убежденный западник и полонофил Вяземский. С ним соглашался и А. И. Тургенев, а Н. А. Мельгунов писал о Пушкине одному из своих знакомых по поводу тех же стихов: «Он мне так огадился как человек, что я потерял к нему уважение, даже как к поэту».

Можно было ожидать, что графиня Фикельмон, так ратовавшая впоследствии против всех национальных восстаний в Австрийской империи, сойдется во взглядах с поэтом. Действительность, однако, оказалась иной. 13 октября 1831 года Дарья Федоровна пишет Вяземскому: «...все, что Вы говорите, я думала с первого мгновения, как прочла эти стихи». Данные строки, надо сказать,— почти единственное прямое доказательство того, что графиня Долли не только восхищалась Пушкиным-собеседником, но и читала его произведения. Как мы видим, Фикельмон в данном случае была заодно с Вяземским.

Дарья Федоровна несомненно сочувствовала полякам, хотя в рядах сражавшихся с ними русских войск были ее родственники Тизенгаузены и многочисленные знакомые — гвардейские офицеры. Событиям в Польше посвящено множество дневниковых записей. Русско-польская война ее глубоко волновала, и при том больше с моральной, чем с политической стороны. Графиня

Долли прежде всего тяжело переживала пролитие крови. На поляков, среди которых у нее тоже было немало великосветских друзей и знакомых, Фикельмон смотрела как на угнетенную героическую нацию, которая доблестно ведет безнадежную, по существу, борьбу.

Очень мрачно смотрит она на будущее русско-польских отношений. «И какая польская душа теперешнего поколения и того, которое за ним последует, сможет желать примирения с Россией»,— записывает Дарья Федоровна 14 сентября 1831 года. И снова, в который уже раз, приходится сказать, что прозорливость не обманула сивиллу — теперь уже петербургскую. «Следующим поколением» были повстанцы 1863 года...

Враждебности к русским в ее записях нет, но государственные интересы России, которые так волновали поэта в связи с польской войной, графине Фикельмон в это время, видимо, совершенно чужды.

За кем останется Волынь?
За кем наследие Богдана?
Признав мятежные права,
От нас отторгнется ль Литва?

— эта патриотическая тревога поэта, которую разделяли и ссыльные декабристы, для молодой посольши была непонятна.

В 1830—1831 годах поэт и графиня, вероятно, спорили много и горячо, но, когда война кончилась, друзья-противники, скорее всего, вместе возмущались тем, что творилось в Польше. Пушкин ведь надеялся на великодушие победителей:

В боренье падший невредим;
Врагов мы в прахе не топтали...

Великодушия проявлено не было. Началась царская расправа с поляками, которой поэт, конечно, никак не сочувствовал.

А графиня Фикельмон в другое время, как и ее муж, убежденная поклонница Николая I, на этот раз нашла для него в дневнике жестокие слова: «Я даже скажу здесь — мой независимый ум увидел в нем деспота и, как такового, я его осуждаю без всякого ослепления...» Дальше, правда, следует ряд оговорок, но слово «деспот» произнесено, и оно осталось в недоступной для царских жандармов тетради.

Хочется надеяться, что со временем, когда будет подробно изучен сейчас едва затронутый архив теплицкого замка, мы точно узнаем многое, о чем пока можно только догадываться.

Зато благодаря А. И. Тургеневу мы подробно знаем, как Пушкин провел в гостях у Фикельмонов один из последних вечеров своей жизни — 6 января 1837 года. 9 января Тургенев пишет А. Я. Булгакову: «Два дня тому назад мы провели очаровательный вечер у австрийского посланника; этот вечер напомнил мне интереснейшие парижские салоны. Образовался маленький кружок, состоявший из Баранта, Пушкина, Вяземского, прусского посла и вашего покорного слуги (...). Разговор был разнообразный, блестящий и полный большого интереса, так как Барант нам рассказывал пикантные вещи о его (Талейрана) мемуарах, первые части которых он читал. Вяземский с своей стороны отпускал словечки, достойные его оригинального ума, Пушкин рассказывал нам анекдоты, черты из жизни Петра I, Екатерины II (...). Повесть Пушкина «Капитанская дочка» так здесь понравилась, что Барант предлагал автору при мне перевести ее на французский язык с его помощью (...)».

Возможно, что читатель подумал сейчас — вечер 6 января 1837 г. ... скоро поединок. Значит, больше об отношениях Пушкина и Фикельмон говорить нечего, кроме обещанного автором разбора записи графини об его дуэли и смерти.

Нам предстоит, однако, еще вернуться назад и заняться эпизодом совершенно неожиданным и, на первый взгляд, невероятным.

Мы не раз уже ссылались на записи первого по времени пушкиниста П. И. Бартенева, лично знавшего многих друзей и знакомых поэта. Есть у Бартенева в разных его работах и несколько высказываний об отношениях поэта и графини Долли, высказываний, надо сказать, не вполне ясных. «Обе они (Е. М. Хитрово и Д. Ф. Фикельмон) любили и почитали Пушкина, который бывал очень близок с графиней Фикельмон».

Вспоминая о пророческом письме графини, видевшей в лице Натальи Николаевны предчувствие грядущего горя, Бартенев говорит: «Может быть, тут действовала и бессознательная ревность, так как она по примеру матери своей высоко ценила и горячо любила гениального поэта и, как сообщил мне Нащокин, не в силах была устоять против чарующего влияния его (...)».

Эти не до конца понятные строки не раз цитировались пушкинистами, но никто ими ближе не занимался. Не привлекало ничьего внимания и совсем уже загадочное упоминание Петра Ивановича Бартенева о том, что в «Пиковой даме» «есть целая автобиографическая сцена».

Так обстояло дело до 1922 года, когда один из лучших пушкинистов, покойный М. А. Цявловский, опубликовал в журнале «Голос минувшего» статью «Пушкин и графиня Фикельмон». В ней была приведена обнару-

женная автором в одной из тетрадей Бартенева запись беседы биографа с другом Пушкина Павлом Воиновичем Нащокиным, которая состоялась 10 октября 1851 года. Появление этой небольшой статьи стало одной из крупных сенсаций раннего советского пушкиноведения.

Оказалось, что П. И. Бартенев знал об отношениях Пушкина и графини Фикельмон гораздо больше, чем счел возможным сообщить в печати.

«Следующий рассказ относится уже к совершенно другой эпохе жизни Пушкина. Пушкин сообщил его за тайну Нащокину и даже не хотел на первый раз сказать имени действующего лица, обещал открыть его после.— Уже в нынешнем царствовании в Петербурге, при дворе была одна дама, друг императрицы, стоявшая на высокой степени придворного и светского значения. Муж ее был гораздо старше ее, и, несмотря на то, ее младые лета не были опозорены молвою (...); она была безукоризненна в общем мнении любящего сплетни и интриги света. Пушкин рассказал Нащокину свои отношения к ней по случаю их разговора о силе воли. Пушкин уверял, что при необходимости можно удержаться от обморока и изнеможения, отложить их до другого времени. Эта блистательная безукоризненная дама наконец поддалась обаянию поэта и назначила ему свидание в своем доме. Вечером Пушкину удалось пробраться в ее великолепный дворец; по условию он лег под диваном в гостиной и должен был дожидаться ее приезда домой. Долго лежал он, теряя терпение, но оставить дело было уже невозможно, воротиться домой — опасно. Наконец после долгих ожиданий он слышит: подъехала карета. В доме засуетились. Двое лакеев внесли канделябры и осветили гостиную. Вошла хозяйка в сопровождении какой-то фрейлины; они возвращались

из театра или из дворца. Через несколько минут разговора фрейлина уехала в той же карете. Хозяйка осталась одна. «Вы здесь?»[1], и Пушкин был перед нею. Они перешли в спальню (...)».

Мы за поэтом и графиней в спальню не последуем. Описание любовной игры звучит в передаче Бартенева довольно пошло. В таких выражениях поэт о своем приключении другу, во всяком случае, не рассказывал. Важно то, что ночь пролетела незаметно, и когда Пушкин, наконец, приподнял штору, оказалось, что на дворе уже «белый день».

Положение было крайне опасным. Прибавим от себя — все, чем жила графиня Долли, могло рухнуть в одно мгновение... Она попыталась сама вывести Пушкина из особняка, но у стеклянных дверей выхода они встретили дворецкого. Вот тут-то, по словам Нащокина, «...Пушкин, сжав ей крепко руку, умолял ее отложить обморок до другого времени, а теперь выпустить его как для него, так и для себя самой. Женщина преодолела себя». Дальше Нащокин рассказывает о том, что графиня позвала свою старую служанку-француженку, «ловкую в подобных случаях», и та, благополучно пройдя с поэтом мимо спальни посла, вывела его в сени. Итальянца-дворецкого Пушкин будто бы принудил на другой день взять тысячу рублей золотом, хотя тот отказывался от платы за молчание. «Таким образом все дело осталось тайною. Но блистательная дама в продолжение четырех месяцев не могла без дурноты вспоминать об этом происшествии».

На полях тетради есть заметки, сделанные не рукой Бартенева. В них говорится о тождестве героини при-

[1] В подлиннике по-французски.

ключения с графиней Фикельмон, что, впрочем, и так ясно из содержания записи. Еще одна пометка гласит: «ожидание Германна в «Пиковой даме».

На первый взгляд все это приключение кажется совершенно неправдоподобным. Умная, житейски опытная женщина вдруг назначает интимное свидание у себя в посольском особняке, полном прислуги, и в ту ночь, когда муж дома. Поэт проникает туда никем не замеченный, ждет хозяйку, лежа под диваном, потом проводит всю ночь в ее спальне... Все это очень уж похоже на веселую, затейливую и не совсем пристойную выдумку в духе новелл итальянского Возрождения.

Неудивительно, что опубликование записи Бартенева вызвало ожесточенные споры между пушкинистами, которые время от времени возобновляются и в наши дни. Исследователи не сомневаются в том, что рассказ о приключении с графиней Долли действительно восходит к Пушкину. Нащокин за давностью времени, вероятно, кое-что забыл, кое-что перепутал. В частности, его рассказ о том, как Пушкину удалось выйти из посольства, очень неясен. Тем не менее Павел Воинович, свято храня память своего великого друга, несомненно, старался вспомнить его подлинные слова, а не выдумал небылицу. То же самое надо сказать и о П. И. Бартеневе.

Вопрос ставится иначе: не сочинил ли эту историю сам поэт? Так именно посмотрел на рассказ друга Пушкина Л. Гроссман. По его мнению, «Пушкин художественно мистифицировал Нащокина, так же как он увлекательно сочинял о себе небылицы детям, или, по примеру Дельвига, сообщал приятелям «отчаянные анекдоты» о своих похождениях». Написанная с немалым блеском статья Гроссмана «Устная новелла Пушкина»

в свое время имела успех, и до сих пор еще некоторые исследователи разделяют мнение автора.

На наш взгляд, однако, прав в высшей степени осторожный и точный М. А. Цявловский, считавший, что нет никаких оснований приписывать поэту подобную, весьма некрасивую выдумку. Скажем от себя: Пушкин — гений, но прежде всего он живой человек и, как всякий человек, он далеко не свободен от недостатков. В данном случае, рассказав другу то, о чем следовало молчать до конца дней, поэт, несомненно, допустил большую нескромность. Однако недостаток недостатку рознь. Гнусностей за всю свою жизнь Пушкин не совершил. Между тем, если согласиться с Гроссманом и его сторонниками, если признать, что рассказ Пушкина о приключении с графиней Фикельмон — выдумка, своего рода «новелла», то пришлось бы этот «художественный» оговор ни в чем не повинной женщины назвать не «устной», а «гнусной» новеллой Пушкина...

М. А. Цявловский, кроме того, справедливо напоминает об очень существенном факте. Тетрадь Бартенева целиком прочел один из близких друзей Пушкина, С. А. Соболевский. На полях он отметил ряд даже совсем незначительных неточностей, но запись о любовном приключении в посольстве не вызвала с его стороны никаких возражений. Очевидно, Соболевский знал, что эта история — не вымысел.

Есть и еще одно прямое доказательство ее подлинности. Автор первой научной биографии Пушкина, П. В. Анненков, собирая свои материалы, записал с чьих-то слов: «Жаркая история с женой австрийского посланника». Нащокина в это время уже не было в живых. Очевидно, о приключении поэта знали не только Павел Воинович и Соболевский...

Итак, записи Бартенева приходится верить. Пожелтевшие страницы его тетради сохранили для нас повесть о том, как Пушкин одержал победу над графиней Фикельмон.

Совершенно того не подозревая, мы еще с детских лет знали начало этой повести — проникновение поэта в особняк и ожидание возвращения хозяйки.

Помните, читатель, эти места «Пиковой дамы»? «Сегодня бал у ...ского посланника. Графиня там будет. Мы останемся часов до двух. Вот вам случай увидеть меня наедине. Как скоро графиня уедет, ее люди, вероятно, разойдутся, в сенях останется один швейцар, но и он обыкновенно уходит в свою каморку. Приходите в половине двенадцатого. Ступайте прямо на лестницу. Коли вы найдете кого в передней, то вы спросите, дома ли графиня. Вам скажут нет,— и делать нечего. Вы должны будете воротиться. Но, вероятно, вы не встретите никого. Девушки сидят у себя, все в одной комнате. Из передней ступайте налево, идите все прямо до графининой спальни (...)».

«...Ровно в половине двенадцатого Германн вступил на графинино крыльцо и взошел в ярко-освещенные сени. Швейцара не было. Германн взбежал по лестнице, отворил двери в переднюю и увидел слугу, спящего под лампою в старинных, запачканных креслах. Легким и твердым шагом Германн прошел мимо его. Зала и гостиная были темны. Лампа слабо освещала их из передней. Германн вошел в спальню (...). Но он воротился и вошел в темный кабинет.

Время шло медленно. Всё было тихо. В гостиной пробило двенадцать; по всем комнатам часы одни за другими прозвонили двенадцать — все умолкло опять. Германн стоял, прислонившись к холодной печке. Он был

спокоен; сердце его билось ровно, как у человека, решившегося на что-нибудь опасное, но необходимое. Часы пробили первый и второй час утра,— и он услышал дальний стук кареты. Невольное волнение овладело им. Карета подъехала и остановилась. Он услышал стук опускаемой подножки. В доме засуетились (...)».

Вы видите, что между рассказом Нащокина и текстом «Пиковой дамы» действительно есть большое сходство. Возможно, правда, что Нащокин, передавая рассказ Пушкина, еще несколько усилил его. Вряд ли, например, забыв многое существенное, он действительно помнил такую подробность, как стук подъезжавшей кареты. Скорее всего. Павел Воинович невольно заимствовал ее из пушкинской повести. Тем не менее сходство между обоими повествованиями остается несомненным.

Картина проникновения Германна во дворец графини полна конкретных подробностей и вполне правдоподобна. Возможно, что Пушкин и в самом деле здесь точно описал начало своего собственного приключения. Нащокин эти подробности запамятовал и ограничился мало что говорящей фразой: «Вечером Пушкину удалось пробраться в ее великолепный дворец...». Вероятно, и возвращения графини Долли поэт, подобно Германну, дожидался не лежа под диваном, а стоя или сидя в каком-нибудь укромном углу. Кто знает, может быть, в действительности «старая чопорная француженка» просто была сообщницей хозяйки. Тогда все приключение становится не столь уж удивительным...

Истории романа Пушкина и Долли Фикельмон мы пока совершенно не знаем. Уцелела от него лишь одна глава. Остальные вряд ли когда-нибудь отыщутся. Само собою разумеется, что письма этого времени, если они и были, сразу же уничтожались. Но не о своих ли письмах

к графине Пушкин говорит в той же «Пиковой даме»?

«Германн их писал, вдохновенный страстию, и говорил языком, ему свойственным: в них выражались и непреклонность его желаний, и беспорядок необузданного воображения. Лизавета Ивановна уже не думала их отсылать: она упивалась ими; стала на них отвечать,— и ее записки час от часу становились длиннее и нежнее».

Это, конечно, только предположение, но, раз в знаменитой повести в самом деле есть автобиографическая сцена, то могут найтись и другие подробности, взятые поэтом из собственной жизни...

Интересно также отметить, что в 1917 году вдумчивый пушкинист Н. О. Лернер обратил внимание на странное несоответствие мыслей Германна, уходившего из дома графини, с только что разыгравшейся по его вине драмой: «По этой самой лестнице,— думал он,— может быть, лет шестьдесят назад, в эту самую спальню, в такой же час, в шитом кафтане, причесанный à l'oiseau royal[1], прижимая к сердцу треугольную свою шляпу, прокрадывался молодой счастливец, давно уже истлевший в могиле, а сердце престарелой его любовницы сегодня перестало биться...»

Комментатор «Пиковой дамы» считает, что «психологически недопустимыми кажутся нам мысли, с которыми Германн покидает на рассвете дом умершей графини. Думать о том, кто прокрадывался в спальню молодой красавицы шестьдесят лет назад, мог в данном случае автор, а не Германн, потрясенный «невозвратной потерей тайны, от которой он ждал обогащения». С таким настроением не вяжутся эти мысли, «полные спокойной грусти».

---

[1] Королевской птицей.

Н. О. Лернеру рассказ Нащокина в 1917 году был неизвестен, но мы, зная его, склонны согласиться с мнением этого пушкиниста о том, что в данном случае так мог думать автор, а не Германн...

Возможно, что перед нами еще одна автобиографическая подробность — благополучно уйдя из посольского особняка, поэт мог спросить себя, может быть, и с ревнивой грустью: не было ли у него предшественников на этом пути?..

Надо сказать, что образ Долли Фикельмон, героини любовного приключения с Пушкиным, решительно не вяжется со всем тем, что мы знали о ней до сих пор. Как совместить ее несомненную любовь к мужу, религиозность, сильно развитое чувство долга, наконец, ее душевную опрятность с этой, пусть недолгой, связью? Как могла она забыть все и отдаться поэту в собственном доме?

Мы, однако, совсем пока не касались некоторых сторон сложной натуры Дарьи Федоровны Фикельмон. Даже читая ее поздние письма (ранних мы почти не знаем), нельзя не почувствовать, что она — человек увлекающийся и страстный; хотя и сдержанно страстный. Должно быть, в облагороженной и смягченной форме она все же унаследовала темперамент матери, женщины, порой совершенно не умевшей справляться со своими переживаниями.

Долли Фикельмон всегда выдержанна и ровна. Лишних слов она даже любимой сестре не говорит. Ее чувства отливаются в достойную и изящную форму, но они не потухли, совсем не потухли, несмотря на годы и внучат. Один за другим проходят в ее письмах образы мужчин, которые в данное время так или иначе интересуют немолодую уже графиню. Чувствуется, что и в науке

...страсти нежной,
Которую воспел Назон,

она далеко не невежда.

«Женщины в этом отношении не ошибаются, они быстро распознают, по тому, как на них смотрит мужчина, новичок он или нет в искусстве их любить»— эту фразу написала, во всяком случае, женщина, много жившая сердцем.

В молодом дневнике графини, несмотря на всю его сдержанность, сердечные переживания порой проступают ясно. О Григории Скарятине она говорит, что была «привязана к нему всей душой» и чувствовала к нему «нежную дружбу». У Василия Толстого графиня находит «ангельское сердце». Александр Строганов является «одним из ее любимцев». Своему поклоннику Вяземскому она пишет (снова приходится повторить: мы знаем лишь перевод этого послания): «...разрешаю вам предпочитать мне всех хорошеньких женщин, волочиться за всеми, и даже не замечать меня в гостиной; потому что я рассчитываю на хороший уголок в вашем сердце, откуда я не хочу, чтобы меня выжили и где я останусь вопреки вас самого».

Надо сделать оговорку: по-французски, особенно в романтическую эпоху, когда с друзьями почти обязательно полагалось беседовать о чувствах, многие выражения звучали менее интимно, чем соответствующие русские, но все же интимность в них есть немалая.

А записывая маскарадный разговор со своим приятелем, атташе английского посольства Медженисом, графиня приводит весьма любопытный отзыв о самой себе. Молодой дипломат ее не узнал (или сделал вид, что не узнал — это тоже практиковалось). Во всяком случае, он сказал, что Фикельмон — «это фразерка и лед, кото-

рый я не дал себе труда растопить». Против несправедливого эпитета «фразерка» она протестует, а сравнение со льдом, который при желании можно растопить, ее, видимо, не задело. Внутренне правдивая женщина свою страстную натуру знала...

Когда же Пушкину удалось «растопить лед»? Когда разыгралась «жаркая история» с женой австрийского посла?

В биографическом плане это вопрос далеко не праздный. Связь с графиней, если она имела место до женитьбы Пушкина, осложнить его семейной жизни не могла. Наталья Николаевна, конечно, знала немало о прошлых увлечениях мужа. Недаром начала ревновать еще будучи невестой. Дело обстоит иначе, если этот роман — одна из любовных провинностей женатого поэта. В очень запутанной под конец семейной жизни Пушкина она могла стать своего рода лишней гирей на домашних весах.

В августе или ноябре 1833 года Пушкин уже читал Нащокину рукопись «Пиковой дамы», в которую, как мы видели, включен биографический эпизод. В выпущенной нами части рассказа Нащокина есть упоминание о том, что поэт проник в посольство в зимнее время. Если Павел Воинович не ошибся, то, значит, эпизод произошел самое позднее в 1832—1833 годах. М. А. Цявловский считает наиболее вероятной либо эту зиму, либо предыдущую.

Даты сближения установить пока невозможно, но в посольский особняк Пушкин, по всему судя, проник уже будучи женатым. В это время ему было 32—33 года, графине Долли — 27—28, ее мужу — 54—55.

Впоследствии, в день серебряной свадьбы (3 июня 1846 года.) Дарья Федоровна пишет сестре, что ее пришли поздравить внучата, одетые ангелами, с цветочны-

ми цифрами на груди —«на одном 2, на другом 5 — двадцать пять лет счастия...»

Вероятно, она искренна, или почти искренна... Можно поверить, что счастье супругов было безоблачным в юные и пожилые годы графини. Но между неаполитанской жизненной весной и венской осенью было еще петербургское лето. Фикельмон несомненно любила стареющего мужа и в эти северные годы, но была ли она тогда до конца счастлива? Вряд ли...

Однако думается, что роман с Пушкиным был все же лишь коротким эпизодом в ее жизни. Вероятно, для графини Долли, человека душевно чистого и совестливого, после памятной ночи наступили дни раскаянья. Не верится, чтобы она могла легко простить себе то, что сделала, не справившись со страстью, разбуженной поэтом.

Трудно предположить, чтобы интимные свидания повторялись. Короткая предельная близость с Пушкиным скорее оттолкнула от него графиню. После пережитого потрясения душевные тормоза опять окрепли. Дарье Федоровне первое время было тяжело принимать поэта в своем доме. Потом это чувство прошло, но надолго, может быть, и навсегда осталась некоторая неловкость, настороженность, нарочитая сдержанность, которая, как мы увидим, чувствуется в высказываниях графини о Пушкине после его смерти.

Предельно осторожен и сдержан в своих писаниях и сам поэт. Ни одного лишнего слова о Дарье Федоровне Фикельмон у него нет. Не будь его неосторожного разговора с Нащокиным (может быть, и еще с кем-нибудь из близких друзей?), мы бы вряд ли вообще что-либо узнали об этом тщательно скрываемом романе.

Нелегко себе представить, что переживала графиня



ДАРЬЯ ФЕДОРОВНА ФИКЕЛЬМОН.
С акварели Т. Юинса, 1826 год.

Долли, читая «Пиковую даму», напечатанную в 1834 году, и слушая разговоры о знаменитой повести в своем салоне. Ее чувства, можно думать, были сложными и смешанными. Однако у Фикельмон не было никаких оснований предполагать, что кто-либо из читателей «Пиковой дамы» сможет догадаться, о чем там местами идет речь. В то же время она не могла не понимать, что интимно связанная с ней пушкинская повесть, вероятно, переживет века...

Возможно, что она узнала кое-какие свои черты и в образе Татьяны-княгини:

...К хозяйке дама приближалась,
За нею важный генерал.
Она была не тороплива,
Не холодна, не говорлива,
Без взора наглого для всех,
Без притязаний на успех,
Без этих маленьких ужимок,
Без подражательных затей...
Все тихо, просто было в ней...

Предположение о том, что Фикельмон отчасти послужила прототипом любимой героини Пушкина, ставшей дамой большого света, высказывалось многими. Неоднократно литературоведы указывали и на то, что в описании гостиной Татьяны-княгини есть сходство с салоном графини Долли, где Пушкин, по словам Вяземского, был «дома».

По мнению ряда авторитетных пушкинистов, в этом же салоне Пушкин мог получить от прекрасно осведомленного австрийского посла достоверные сведения об истинном облике Сальери и тайне смерти отравленного им Моцарта. Эти сведения поэт использовал в своей трагедии «Моцарт и Сальери».

Беру на себя смелость высказать еще одно предположение. Образ графини Фикельмон запечатлен и в «Египетских ночах». Вспомним то место, где импровизатор-итальянец предлагает присутствующим дамам вынуть из вазы жребий — одну из предложенных ему тем. «Импровизатор сошел опять с подмостков, держа в руках урну; и спросил: кому угодно будет вынуть тему? — Импровизатор обвел умоляющим взором первые ряды стульев. Ни одна из блестящих дам, тут сидевших, не тронулась. Импровизатор, не привыкший к северному равнодушию, казалось, страдал... вдруг заметил он в стороне поднявшуюся ручку в белой маленькой перчатке: — он с живостью оборотился и подошел к молодой величавой красавице, сидевшей на краю второго ряда. Она встала безо всякого смущения и со всевозможной простотою опустила в урну аристократическую ручку и вынула сверток. «Извольте развернуть и прочитать»,— сказал ей импровизатор. Красавица развернула бумажку и прочла вслух: Cleopatra e i suoi amanti (Клеопатра и ее любовники).— Эти слова произнесены были тихим голосом, но в зале царствовала такая тишина, что все их услышали. Импровизатор низко поклонился прекрасной даме с видом глубокой благодарности и возвратился на свои подмостки».

Кто же эта молодая красавица-аристократка, величавая на вид и в то же время так не похожая на чопорных, всего боящихся петербургских дам? Как и у Татьяны-княгини, у нее «всевозможная простота». Красавица, видимо, уверенно читает по-итальянски. Мне думается, что на вечер импровизатора-итальянца Пушкин привел графиню Фикельмон, так любившую Италию...

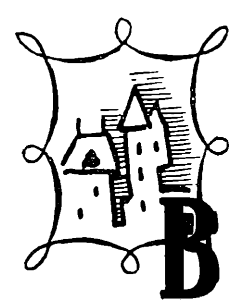
Если мое предположение правильно, то это последнее (и, собственно говоря, единственное) появление

графини Долли в творчестве Пушкина. Незаконченная повесть была написана, вероятно, осенью 1835 года, а напечатана в 1837 году, уже после смерти поэта.

Как мы видим, и в жизни, и в творчестве Пушкина Дарья Федоровна Фикельмон, вероятно, сыграла значительно большую роль, чем можно было предполагать до недавнего времени.

Именно поэтому мы посвятили ей немало страниц, и еще раз вернемся к графине Долли в следующей, последней, главе.

Д. Ф. ФИКЕЛЬМОН О ДУЭЛИ И СМЕРТИ ПУШКИНА



В истории русской культуры вряд ли есть событие, равное по своему трагизму смерти Пушкина. Сто двадцать семь лет прошло с тех пор, но и сейчас тяжело и горько думать о безвременном уходе нашего гениального поэта.

В его последней драме и поныне многое остается невыясненным, темным, непонятным. Вероятно, многое никогда и не будет объяснено до конца. Действующие лица давно в могиле. То, что они в свое время скрыли, не занеся на бумагу, скрытым и останется.

Есть, однако, материалы, до сих пор просто не разысканные, и почти каждый год приносит в этом отношении что-либо новое.

П. Е. Щеголев, автор наиболее полного, но уже несколько устаревшего исследования «Дуэль и смерть Пушкина» в предисловии к первому изданию своей книги (1916) писал: «Думается, что после систематически веденных мною в различных направлениях розысков, в будущем вряд ли можно будет разыскать много документального материала в дополнение к настоящему собранию». Однако Великая Октябрьская Социалистическая революция, открывшая исследователям доступ к целому ряду засекреченных архивов, позволила автору значительно пополнить собранные им ранее обширные материалы. Последнее прижизненное издание его книги, третье, вышедшее в 1928 году, дает кроме того новый

взгляд на историю возникновения дуэли и с несомненностью уличает автора анонимного пасквиля, послужившего поводом к поединку. Им оказался князь Петр Владимирович Долгоруков.

После выхода в свет переработанной книги Щеголева прошло без малого сорок лет, и за это время был сделан ряд находок, среди которых по своему значению для истории гибели поэта наиболее важны письма членов семьи историка Н. М. Карамзина к его сыну Андрею Николаевичу. Эта ныне широко известная «Тагильская находка» была впервые опубликована (в выдержках) И. Л. Андрониковым в 1956 году[1]. В 1960 году Институт русской литературы (Пушкинский дом) выпустил полное научное издание писем[2].

На желательность отыскания писем Карамзиных указывал еще Щеголев. Он надеялся также на опубликование писем Натальи Николаевны Пушкиной к мужу, которые, по его сведениям, в 1916 году хранились в б. Румянцевском Музее. В настоящее время эти письма, по-видимому, находятся где-то за границей.

В качестве примера я привел два источника, о которых было известно, что они когда-то существовали. Один из них нашелся, другой, можно надеяться, также со временем найдется.

Есть также источники, давно известные, но полузабытые. К числу их, на мой взгляд, следует отнести и французское письмо барона Густава Фризенгофа, мужа Александры Николаевны Гончаровой, от 26/14 марта 1887 года, о котором я упомянул в первой главе. Оно

---

[1] Новый мир, 1956, № 1, январь, стр. 153—209.

[2] Пушкин в письмах Карамзиных 1836—1837 годов. М.-Л., 1960.

написано со слов Александры Николаевны и проверено ею. В печати письмо было известно лишь в неполном и местами неточном переводе. Я получил возможность прочесть его целиком по фотокопии, любезно предоставленной мне Пушкинским Домом. Пользоваться этим поздним и далеко не откровенным повествованием, составленным по просьбе племянницы Фризенгоф-Гончаровой, писательницы А. П. Араповой[1], надо очень осторожно, но в нем есть все же интересные и ценные сведения, которым можно поверить. В дальнейшем я обозначаю этот источник, как «письмо барона Фризенгофа».

О существовании дневника графини Д. Ф. Фикельмон с обширной записью о дуэли и смерти поэта знал до 1943 года только его последний владелец, князь Альфонс Кляри-и-Альдринген. Я уже рассказал о том, как дальний потомок Кутузова пошел навстречу автору этих строк.

Теперь попытаюсь разобрать дневниковую запись Д. Ф. Фикельмон. Этот документ уже прочно вошел в оборот пушкиноведения, но, насколько я знаю, до настоящего времени мало привлекал внимание исследователей.

Д. Ф. Фикельмон довольно подробно и, в общем, добросовестно излагает историю последней дуэли Пушкина. Однако о многом она умалчивает, несмотря на хорошую осведомленность. Прежде чем приводить ее текст, будет небесполезно восстановить в памяти читателей ряд основных дат и фактов, относящихся к последней драме поэта.

---

[1] Дочери Н. Н. Пушкиной-Ланской от второго брака. Она — автор ценных воспоминаний о матери и нескольких французских романов.

Жорж-Шарль Дантес родился 5 февраля 1812 года. Таким образом он был ровесником Наталии Николаевны Пушкиной, которая родилась в день Бородинского сражения — 26 августа 1812 года. Дантес (правильнее д'Антес, но мы сохраним принятую транскрипцию)— французский дворянин родом из Эльзаса и человек французской культуры, но его мать немка, и среди его предков и родственников немало немецких аристократов. Говорил Дантес и в зрелые годы с неприятным для французского уха эльзасским акцентом. По физическому облику он также был похож скорее на немца, чем на француза: высокого роста, атлетически сложенный блондин с голубыми глазами.

Не окончив Сен-Сирской военной школы из-за Июльской революции 1830 года, молодой человек, не желавший служить новому королю Луи Филиппу, отправился в конце 1833 года искать счастья в Россию. Протекция у него была мощная. Прусский принц Вильгельм, впоследствии (с 1861 года) император германский, дал Дантесу рекомендательное письмо к очень влиятельному приближенному императора Николая I, генерал-майору В. Ф. Адлербергу. По существу, принц рекомендовал молодого легитимиста[1] вниманию русского царя. Неудивительно, что это письмо привело к блистательному результату. После очень легкого экзамена при Военной Академии (знание русского языка для будущего русского офицера не потребовалось) безвестный юноша-барон, всего год проучившийся в военной школе, был зачислен 14 февраля 1834 года корнетом в лейб-гвардии кавалергардский полк, доступ в который, вообще говоря, был исключительно труден. Полвека спустя брат сербского

---

[1] Сторонника «законного» короля.



ЖОРЖ ДАНТЕС, барон ГЕККЕРН.
Рисунок Райта. Собрание Пушкинского Дома.

короля был принят в кавалергарды лишь солдатом-вольноопределяющимся.

Пушкин записал в дневник 26 января 1834 года: «Барон Дантес и маркиз де Пина, два шуана[1], будут приняты в гвардию прямо офицерами. Гвардия ропщет».

Служить в кавалергардском полку, не имея крупных личных средств, было нельзя, а отец барона Жоржа мог бы высылать ему совершенно ничтожную по русским масштабам сумму. Однако есть достоверные сведения о том, что Николай I сразу же назначил ему негласное пособие (размер его неизвестен), а, самое главное,— проезжая через Германию, Дантес случайно встретился с возвращавшимся из отпуска в Петербург голландским посланником бароном Луи де Геккерном, понравился ему, и это обстоятельство сыграло огромную роль в дальнейшей жизни Дантеса, а косвенно — и в последней драме Пушкина.

Посланник поселил молодого человека у себя, всячески ему покровительствовал, помог войти в высшее общество и в конце концов в начале 1836 года усыновил его с согласия здравствовавшего отца Дантеса[2]. Эта чрезвычайно странная история и до сих пор еще не вполне выяснена. Во всяком случае барон Геккерн несомнен-

---

[1] Так называли участников контрреволюционного восстания 1793 года, а также контрреволюционеров 1830 года.

[2] Сравнительно недавно выяснилось, что Дантес получил лишь голландское дворянство, а также право именоваться бароном Геккерном. Усыновление по голландским законам оказалось в данном случае невозможным, но это ничего не меняет по существу: Дантес носил обе фамилии и считался усыновленным не только в обществе, но и юридически—в акте об его бракосочетании Дантес назван Геккерном.

но любил своего приемного сына и не изменил отношения к нему до самой смерти. (Оба прожили очень долго: Геккерн скончался в 1884 году в 95-летнем возрасте, а Дантес прожил 83 года и умер в 1895 году).

Следует сказать, что вопреки очень распространенному взгляду, убийца Пушкина, при всех своих отрицательных качествах, не был ничтожной личностью. В относительно молодом возрасте он выполнял важные политические поручения будущего императора Наполеона III, получил звание сенатора и, по словам выдающегося французского писателя Проспера Мериме, обладал блестящим ораторским талантом. Все это, однако, в будущем. В Петербурге он просто молодой кавалергард, красивый, ловкий, хитрый, несколько нахальный и, повидимому, весьма неглупый. Кроме того, у него была счастливая способность нравиться и женщинам, и мужчинам. Товарищи по полку его любили. До поры до времени и Пушкин относился далеко не враждебно к остроумному французу.

Роман Натальи Николаевны подробно описан Д. Ф. Фикельмон. Мы займемся им, комментируя ее запись. Пока отметим, что жена поэта и барон Жорж познакомились не позже осени 1834 года. Это роковое знакомство быстро перешло во взаимное увлечение. Начались настойчивые ухаживания Дантеса, которые привлекли пристальное внимание высшего общества столицы, а слух о них рапространился далеко за ее пределы. Поклонников у Натальи Николаевны и прежде было множество. К числу их несомненно принадлежал и сам император Николай Павлович, 30 декабря 1833 года давший Пушкину несоответствовавшее его годам и общественному положению звание камер-юнкера. Эта «милость», как считал и сам поэт, была вызвана желанием

царя открыть его жене доступ на придворные балы. Судя по всему, что мы знаем, Наталье Николаевне доставляло удовольствие кокетничать с самодержцем, красивым мужчиной и весьма опытным ловеласом. Пушкину этот, говоря по-современному, флирт, вызывавший разного рода сплетни, крайне не нравился. Нет, однако, решительно никаких оснований думать, что в какой-то момент Наталья Николаевна была интимно близка с царем.

Николай I изменял своей жене со многими женщинами. Фамилии их современникам были отлично известны, а рассказов о любовных приключениях Николая Павловича сохранилось очень много. Есть неодобрительные упоминания о «высочайших» романах и в дневнике Фикельмон. Никто, однако, ни в России, ни, что еще существеннее, за границей, где многие ненавидели царя-реакционера, не назвал его нарушителем семейного счастья поэта. Надо, кроме того, сказать, что в 1836 году, когда роман Пушкиной и Дантеса стал особенно заметным, Наталья Николаевна почти не встречалась с царем. Светское злословие было всецело занято ее отношениями с Дантесом, а вовсе не прежним кокетничанием с Николаем I.

Наступило роковое 4 ноября 1836 года. Утром сам Пушкин и ряд его друзей получили по городской почте анонимный диплом-пасквиль следующего содержания:

«Кавалеры первой степени, командоры и кавалеры светлейшего ордена рогоносцев, собравшись в Великом Капитуле под председательством достопочтенного великого магистра ордена его превосходительства Д. Л. Нарышкина, единогласно избрали г-на Алексан-

дра Пушкина коадъютором[1] великого магистра ордена рогоносцев и историографом ордена.

Непременный секретарь граф И. Борх».

В 1924 году было высказано предположение о том, что авторы пасквиля (их было не менее двух) намекали будто бы на связь Натальи Николаевны не с Дантесом, а с царем. Доказательство видели в том, что в дипломе Пушкин именуется заместителем Нарышкина, мужа долголетней любовницы Александра I. Предположение о намеке по «царственной линии» и сейчас разделяют некоторые видные пушкинисты, но доказанным его считать нельзя.

Авторы пасквиля просто могли воспользоваться фамилией всем известного рогоносца Нарышкина, присвоив ему звание «великого магистра» ордена, в который зачислялся Пушкин в качестве обманутого мужа.

Так, видимо, понял диплом и Пушкин. Во всяком случае, четвертого ноября он послал Дантесу немотивированный вызов на дуэль. Поэт, очевидно, считал, что кавалергард и так поймет, почему его зовут к барьеру.

Вызов, посланный по почте (текст его неизвестен), попал в тот же день в руки посланника Геккерна, и тот, ничего не говоря сыну, бросился к Пушкину. Он заявил поэту, что принимает вызов за барона Жоржа, но просит отсрочки на 24 часа. Геккерн, видимо, надеялся, что Пушкин, обсудив дело спокойнее, не будет настаивать на поединке. Шестого ноября посланник снова был у Пушкина. Как писал впоследствии П. А. Вяземский великому князю Михаилу Павловичу, поэт, тронутый волнением и слезами Геккерна, сам предложил отсрочить дуэль на две недели.

---

[1] Заместителем.

Волнение Геккерна понять легко. Весьма возможно, что он знал об умении поэта мастерски владеть оружием. Пушкин был превосходным фехтовальщиком, но и из пистолета стрелял отлично[1]. Его противнику грозила смертельная опасность.

Труднее понять согласие Пушкина на отсрочку. Похоже на то, что, несколько успокоившись, он подумал о том, что неизвестно кем нанесенное оскорбление — в конце концов не основание для дуэли, которая при любом исходе тяжело скомпрометирует Наталью Николаевну.

Во всяком случае отсрочка была дана. Начались длительные и очень сложные переговоры, в которых участвовал посланник Геккерн, В. А. Жуковский и тетка Натальи Николаевны, фрейлина Е. И. Загряжская. Все они старались предупредить дуэль. Вскоре выяснилось совершенно новое обстоятельство: Дантес собирается жениться на сестре Натальи Николаевны — Екатерине Николаевне.

К этой странной главе дуэльной истории мы еще вернемся. Пока скажем, что посредникам удалось в конце концов добиться от Пушкина письма на имя своего секунданта графа В. А. Соллогуба, в котором поэт заявлял: «Я прошу свидетелей этого дела соблаговолить рассматривать этот вызов, как не существовавший, осведомившись по слухам, что г. Жорж Геккерн решил объявить свое намеренье жениться на m-lle Гончаровой, после дуэли. Я не имею никакого основания приписывать его решение соображениям недостойным благородного

---

[1] Коллега Геккерна, датский посланник О. Бломе, в донесении своему правительству о дуэли упомянул, что оба противника — искусные стрелки.

человека». Виконт д'Аршиак, секундант Дантеса, искренне стремившийся предотвратить поединок, не показывая письма барону Жоржу, сказал: «Этого достаточно».

Крайне удивившая светское общество свадьба была объявлена на бале у Салтыковых. Она состоялась 10 января 1837 года.

Мы остановились подробнее на некоторых существенных сторонах истории дуэли, которые в дневнике Фикельмон или обойдены молчанием, или изложены неверно.

Поведение Дантеса после свадьбы, его возобновившиеся, ставшие наглыми ухаживания за женой Пушкина описаны графиней достоверно и точно. Указывает она и на непосредственный повод к поединку.

Выведенный из себя поведением свояка, Пушкин отправил посланнику 25 января предельно грубое и оскорбительное письмо, которое сделало поединок неизбежным. 26 января д'Аршиак передал поэту вызов Дантеса. Вечно печальная дуэль состоялась на другой день.

29 января в 2 часа 45 минут пополудни смертельно раненный поэт после тяжких двухдневных страданий отошел в вечность.

Переходим теперь к тексту записи.

29 января (1837).

«Сегодня Россия потеряла своего дорогого, горячо любимого поэта Пушкина, этот дивный талант, полный красоты и силы. И какая печальная и мучительная катастрофа заставила угаснуть этот прекрасный, блестящий светоч, которому как будто было предназначено все больше и больше освещать все окружающее и который, казалось, имел перед собою еще долгие дни.

Александр Пушкин, вопреки советам всех своих друзей, вступил в брак пять лет тому назад, женившись на

Наталье Гончаровой, совсем юной, без состояния, но изумительной красоты. Очень поэтической внешности, но со слабым умом и характером, она с самого начала заняла в свете место, которое должно по праву принадлежать такой неоспоримой красоте. Ее окружало общее поклонение, но она любила только своего мужа и казалась счастливой в своей семейной жизни. Она веселилась от души и без всякого кокетства, пока один француз — барон Жорж Геккерн-Дантес, кавалергардский офицер, приемный сын Геккерна, голландского посланника, не начал за ней ухаживать. Он был влюблен в течение года, как это бывает позволительно всякому молодому человеку, живо ею восхищаясь, но ведя себя сдержанно и не бывая у них в доме. Но постоянно видя ее в свете, а вскоре и в более тесном дружеском кругу, он стал более открыто проявлять свою любовь. Одна из сестер г-жи Пушкиной имела несчастье влюбиться в него и, увлеченная своею любовью, не подумала о том, что может из-за этого произойти для ее сестры; эта молодая особа старалась учащать возможности встреч с Дантесом. Наконец все мы видели, как росла и увеличивалась эта гибельная гроза. То ли одно тщеславие г-жи Пушкиной было польщено и возбуждено, то ли Дантес действительно тронул и смутил ее сердце, как бы то ни было, она не могла больше отталкивать или останавливать проявлений этой необузданной любви. Вскоре Дантес, забывая всякую деликатность благоразумного человека, нарушая все светские приличия, обнаружил на глазах всего общества проявления восхищения, совершенно недопустимые по отношению к замужней женщине,— она бледнела и трепетала под его взглядами, было очевидно, что она совершенно потеряла возможность обуздать этого человека, и он решил довести ее до крайности. Пушкин тогда совершил большую ошибку,



НАТАЛЬЯ НИКОЛАЕВНА ПУШКИНА,
жена поэта. С портрета В. Гау.

разрешая своей молодой и слишком красивой жене выезжать в свет без него. Его доверие к ней было безгранично, тем более, что она давала ему во всем отчет и пересказывала слова Дантеса — большая, ужасная неосторожность. Семейное счастье начало уже нарушаться, когда чья-то гнусная рука направила мужу анонимные письма, оскорбительные и ужасные, в которых доводились до его сведения все возмутительные слухи и имена его жены и Дантеса упоминались с самой жестокой, самой ядовитой иронией. Пушкин, пораженный в самое сердце, понял, что как бы он лично ни был уверен и убежден в невиновности своей жены, она была виновата в глазах общества, в особенности того общества, которому дорого и ценно его имя. Большой свет все видел и мог считать, что поведение самого Дантеса было верным доказательством невинности г-жи Пушкиной, но десятки других петербургских обществ, гораздо более значительных в его глазах, потому что там были его друзья, его сотрудники и, наконец, его читатели, считали ее виновной и бросали в нее каменья. Он написал Дантесу, требуя от него объяснений по поводу его оскорбительного поведения. Единственный ответ, который он получил, заключался в том, что он ошибается, так же как и другие, и что все стремления Дантеса направлены только к девице Гончаровой, свояченице Пушкина. Геккерн сам приехал просить ее руки для своего приемного сына. Так как молодая особа сразу приняла это предложение, Пушкину нечего было больше сказать, но он положительно заявил, что никогда не примет у себя в доме мужа своей свояченицы. Общество с удивлением и недоверием узнало об этом необыкновенном браке; сразу стали заключаться пари о том, что вряд ли он состоится и что это не что иное как увертка. Однако Пушкин казался очень довольным и удовлетворенным. Он всюду выво-

зил свою жену на балы, в театр, ко двору, и теперь бедная женщина оказалась в самом фальшивом положении: не смея разговаривать со своим будущим зятем, не смея поднять на него глаза, под наблюдением всего общества, она постоянно трепетала; не желая верить, что Дантес предпочел ей сестру, она по наивности или, скорее по своей удивительной простоте, спорила с мужем о возможности такой перемены в сердце, любовью которого она дорожила, быть может, только из одного тщеславия. Пушкин не хотел ни присутствовать на свадьбе своей свояченицы, ни видеть их после нее, но общие друзья, весьма неблагоразумные, надеялись привести их к примирению или хотя бы к сближению и почти ежедневно сводили их вместе. Вскоре Дантес, хотя и женатый, возобновил прежние приемы, прежние преследования и наконец на одном балу он так скомпрометировал г-жу Пушкину своими взглядами и намеками, что все ужаснулись, а решение Пушкина было с тех пор принято окончательно. Чаша переполнилась, не было никакого средства остановить несчастье. На следующий же день он написал Геккерну-отцу, обвиняя его в сообщничестве, и вызвал его в весьма оскорбительных выражениях. Ответил ему Дантес, приняв на себя вызов за своего приемного отца. Этого-то и хотел Пушкин. В несколько часов все было устроено: г. д'Аршиак из французского посольства стал секундантом Дантеса, а старый школьный товарищ Пушкина по фамилии Данзас — его секундантом, все четверо поехали на острова, и там, среди глубокого снега, в пять часов пополудни состоялась эта ужасная дуэль.

Дантес выстрелил первый, Пушкин, смертельно раненный, упал, но все же имел силы целиться в течение нескольких секунд и выстрелить; он ранил Дантеса в руку, видел, как тот пошатнулся, и спросил: «Он убит?» —

«Нет»,— ответили ему.— «Ну, тогда придется начать все снова».

Его привезли домой, куда он прибыл, чувствуя себя еще довольно крепким, попросил жену, которая подошла к двери, оставить его ненадолго одного. Послали за докторами; когда они зондировали рану, он захотел узнать, смертельна ли она; ему ответили, что на сохранение его жизни очень мало надежды. Тогда он послал за своими близкими друзьями: Жуковским, Вяземским, Тургеневым и некоторыми другими; написал императору письмо, в котором поручил ему жену и детей; после этого разрешил войти своей глубоко несчастной жене, которая не хотела ни поверить своему горю, ни понять его. Он повторил ей тысячу раз, и все с возрастающей нежностью, что считает ее чистой и невинной, что должен был отомстить за свою поруганную честь, но что сам он никогда не сомневался ни в ее любви, ни в ее добродетели.

Когда пришел священник, он исповедался и выполнил все, что полагалось.

Агония продолжалась 36 часов.

В течение этих ужасных часов он ни на минуту не терял сознания, его ум оставался светлым, ясным, спокойным. Он вспоминал о дуэли только для того, чтобы получить от своего секунданта обещание не мстить за него и чтобы передать своим отсутствующим шуринам запрещение драться с Дантесом. Все, что он говорил своей жене, было ласково, нежно и утешительно, он

ни от кого ничего не принимал, кроме как из ее рук. Обратившись к своим книгам, он сказал: «Прощайте, друзья». Наконец он как бы заснул, произнеся слова: «Все кончено». Жуковский, который любил его как отец и все эти часы сидел около него, рассказывает, что в это последнее мгновение лицо Пушкина как бы озарилось новым светом, а в серьезном выражении его чела было словно удивление, точно он увидел нечто великое, неожиданное и прекрасное. Эта поэтическая мысль достойна чистой, невинной, глубоко верующей, ясной души Жуковского.

Несчастную жену с большим трудом спасли от безумия, в которое ее, казалось, неудержимо влекло мрачное и глубокое отчаяние. Император был великолепен во всем, что он сделал для этой несчастной семьи.

Дантес, после того как его долго судили, был разжалован в солдаты и выслан за границу; его приемный отец, которого общественное мнение осыпало упреками и проклятиями, просил отозвать его и покинул Россию — вероятно, навсегда. Но какая женщина посмела бы осудить госпожу Пушкину? Ни одна, потому что все мы находим удовольствие в том, чтобы нами восхищались и нас любили,— все мы слишком часто бываем неосторожны и играем с сердцем в эту ужасную и безрассудную игру. Мы видели, как начиналась среди нас эта роковая история подобно стольким другим кокетствам, мы видели, как она росла, увеличивалась, становилась мрачнее, сделалась такой горестной,— она должна была бы стать для общества большим и сильным уроком тех последствий, к которым может привести необдуманность друзей, но кто бы воспользовался этим уроком? Никогда, напротив, петербургский свет не был так кокетлив, так легкомыслен, так неосторожен в гостиных, как в эту зиму...

Печальна эта зима 1837 года, похитившая у нас Пушкина, друга сердца маменьки».

Первый вопрос, который возникает при изучении записи — это время ее составления. Она датирована днем смерти поэта, но, в целом, безусловно, написана позже, так как в заключительной части упоминается об отъезде из Петербурга посланника Геккерна, который покинул столицу 13 апреля. Н. В. Измайлов, вероятно, прав, допуская, что вчерне запись действительно могла быть начата в день смерти поэта. Однако текст обработан весьма тщательно и, на мой взгляд, трудно допустить, чтобы графиня, несомненно взволнованная смертью Пушкина, могла писать об его трагедии такими гладкими литературными фразами.

Общий тон записи, за исключением начала и, в особенности, последнего абзаца, чрезвычайно сдержанный. О своих личных переживаниях в связи со смертью поэта Дарья Федоровна не говорит ничего, хотя, конечно, она о многом передумала и многое перечувствовала в те траурные дни. Семь с лишним лет знакомства, долгая дружба, пусть короткое, но все же увлечение гениальным человеком...

Ее мать могла войти в кабинет Пушкина и при всех опуститься на колени перед умирающим гением. Жене австрийского посла пришлось остаться дома... На отпевании поэта она была вместе с мужем, который явился в Конюшенную церковь в полной парадной форме фельдмаршала-лейтенанта австрийской армии, но об этом мы знаем из других источников. Сама графиня Долли о прощании с прахом великого друга не сказала ничего.

Донесение ее мужа своему правительству о дуэли и смерти Пушкина проникнуто сочувствием к погибшему

поэту, но очень кратко и также весьма сдержанно, хотя граф Фикельмон знал покойного поэта ближе, чем кто-либо из дипломатов, аккредитованных в Петербурге. Возможно, что посол считался с реакционными настроениями своего начальника — графа Меттерниха.

Начало записи графини Фикельмон о дуэли и смерти Пушкина, взволнованное и искреннее, отличается по своему тону от остального текста. Можно думать, что именно эти строки, по крайней мере начерно, графиня написала тотчас же по получении известия о смерти поэта. Прекрасно сравнение Пушкина с сияющим светочем, который озарял все окружающее. Но уже самые первые слова дают тон всему дальнейшему содержанию. «Сегодня Россия потеряла Пушкина...» Россия, а не Дарья Федоровна Фикельмон... Только по контексту можно понять, что угасший светоч озарял и ее.

Днем позже вдова Карамзина, Екатерина Андреевна, написала сыну замечательное по глубине и искренности письмо (против обыкновения по-русски): «Пишу к тебе с глазами, наполненными слез, а сердце и душа тоскою и горестию: закатилась звезда светлая, Россия потеряла Пушкина!»

И у нее ощущение погасшего источника света, и она говорит о великой потере для родины, но не скрывает и своих слез, своего личного горя.

Мы не знаем, плакала ли тайком от всех Долли Фикельмон. На людях, наверное, нет, а в дневнике, как мы уже упоминали, нет ни слова о том, как она лично переживала кончину поэта. В целом полтораста примерно строк ее текста — это своего рода памятная записка о дуэли и смерти Пушкина, предназначенная для потомства, может быть, и для истории, но не интимная запись для себя.

Эта записка распадается на две далеко не равноценных части. Весь преддуэльный период графиня излагает, в основном, как непосредственная свидетельница. И Пушкина, и Наталью Николаевну, и Дантеса она знала близко, постоянно с ними встречалась и своими глазами наблюдала все развитие драмы. Каждое ее замечание, каждое слово ценно, а порой и драгоценно.

О самой дуэли и о кончине поэта Фикельмон пишет с чужих слов, главным образом, по-видимому, со слов Жуковского. Новых данных в этой части записи почти нет, но мы лишний раз узнаем от достоверной свидетельницы о том, что именно Василий Андреевич говорил о последних днях и часах своего великого друга вскоре после того, как Пушкина не стало.

Тщательно обработанная запись графини Долли содержит в сжатой форме многочисленные высказывания о людях и событиях.

Несмотря на всю выдержку автора и нарочито исторический стиль повествования, искреннее сочувствие графини к погибшему поэту ощущается от начала до конца записи. Но скорбь не затемняет интеллекта Дарьи Федоровны. Он, как всегда, ясен и точен. Фикельмон, повторяю, всей душой на стороне Пушкина, но это не мешает ей видеть его житейские ошибки.

Самая большая из них — это женитьба. Не женитьба на Наталье Николаевне Гончаровой, а женитьба вообще. Графиня упоминает о том, что Пушкин женился вопреки мнению всех своих друзей. Если не все, то многие из них, действительно, считали его человеком, не созданным для семейной жизни. П. А. Вяземский, например, долго не хотел верить, что Пушкин собирается жениться. В апреле 1830 года он пишет жене: «...как же думать, что невеста пойдет, что мать отдаст свою дочь ветренику и фату,

который утешается в горе?» Мать графини Фикельмон, Елизавета Михайловна Хитрово, находила, в свою очередь, что женитьба поэта помешает его творчеству. «Я опасаюсь для вас прозаической стороны супружества...» — писала она.

Д. Ф. Фикельмон, можно думать, разделяла мнение матери, Вяземского и других верных друзей Пушкина о том, что жениться ему не следовало. Она вспомнила о былых разговорах и опасениях и в те дни, когда семейная драма поэта закончилась его смертью.

Графиня, как и раньше, говорит об исключительной красоте Натальи Пушкиной. Считает естественным, что благодаря ей жена поэта заняла блестящее положение в обществе.

Зато к духовным качествам Натальи Николаевны она относится очень критически. Мы привели уже ее мнение о том, что у Пушкиной не много ума. Оно было высказано еще в сентябре 1832 года. В дуэльной записи отзыв графини об уме и характере жены поэта тоже довольно пренебрежителен: она считает слабым и тот и другой.

Что сказать по существу о мнении Дарьи Федоровны? Ряд других современников в связи с ролью Натальи Николаевны в дуэльной истории отозвался об ее умственных способностях гораздо резче. «Набитая дура» — вспоминал о ней полвека спустя полковой товарищ Дантеса князь А. В. Трубецкой.

Думается, что отзыв Фикельмон ближе к истине, но, быть может, и он не совсем справедлив. Письма Пушкина к жене и немногие известные письма Натальи Николаевны, показывают, во всяком случае, что в делах житейских она была далеко не глупа.

О том же говорят и недавно опубликованные М. Яшиным новые ее письма. Оказывается, что в двадцать три

года, в связи с судебным процессом, который вели Гончаровы, романтическая красавица-поэтша, «мадонна», «Психея», умела не только толково вести переговоры с адвокатами, энергично обхаживать влиятельных лиц, но и пыталась выяснить, кому можно дать взятку.

Что касается ее характера, то Фикельмон, безусловно, не ошибается. То же впечатление создается и при чтении писем поэта — добрая, милая, но бесхарактерная женщина.

Несмотря на очень сдержанный тон записи и соболезнующие оговорки по адресу Пушкиной, чувствуется все же в обдуманных фразах автора горькое и гневное раздражение против недалекой и безвольной жены поэта.

Об Александре Николаевне Гончаровой графиня вовсе не упоминает. В записи, как можно думать, предназначенной для потомства, вероятно, не считает возможным говорить об ее отношениях с поэтом. Между тем, постоянно бывая в обществе, Дарья Федоровна вряд ли могла не заметить того, что именно в последние преддуэльные месяцы эти отношения приняли явно не родственный характер.

К старшей Гончаровой, Екатерине Николаевне, у Фикельмон отношение насмешливое и слегка презрительное. Мастерски владея французской фразой, Дарья Федоровна находит для немолодой уже барышни[1] слова и обороты, в которых немало тонкого яда (в переводе он чувствуется не так ясно). В безответной, ничего не видящей влюбленности Екатерины Николаевны никакой романтической красоты она не находит. Французскому слову, которым Фикельмон определяет чувство старшей Гончаро-

---

[1] Е. Н. Гончарова родилась в 1808 году (точная дата неизвестна).

вой к Дантесу, довольно точно соответствует грубоватое русское «втюрилась». В другом месте, рассказывая о предложении Дантеса, Дарья Федоровна говорит, что «молодая особа» сразу его приняла. По-французски, особенно на языке того времени, в выражении «молодая особа» тоже есть насмешливая ирония, когда речь идет о девице без малого тридцатилетней. (Интересно отметить, что в метрической книге Исаакиевского собора в записи о бракосочетании Гончаровой и Дантеса лета невесты уменьшены на три года).

В общем, строки, посвященные Екатерине Николаевне, позволяют думать, что для Фикельмон она была комическим персонажем трагедии.

Остаются еще Дантес и Геккерн. К барону Жоржу Фикельмон несомненно враждебна, гораздо более враждебна, чем большинство людей ее круга. В ее записи, когда речь идет о Дантесе, чувствуется и огорчение, и большая личная антипатия. Мы увидим в дальнейшем, что и ряд лет спустя графиня не переменила своего отношения к убийце Пушкина.

В дневниковой записи Дарья Федоровна ни словом не упоминает о своих прошлых добрых отношениях с молодым кавалергардом. Бывал ли он в салоне Фикельмон в последние преддуэльные годы, мы не знаем. Похоже на то, что не бывал. Однако в первой по времени книжке о дуэли и смерти Пушкина[1], составленной со слов секунданта поэта Данзаса, есть упоминание о том, что Дантес привез Д. Ф. Фикельмон из-за границы рекомендательное письмо. Вряд ли мы ошибемся, если предположим, что лицо, снабдившее его этой рекомендацией,— это все

---

[1] А. Аммосов, «Последние дни жизни и кончина А. С. Пушкина». С.-Пб., 1863.

тот же покровитель Дантеса, принц Вильгельм Прусский. Его отец, король Фридрих Вильгельм, был издавна близок к семейству Хитрово-Тизенгаузен и, по некоторым сведениям, одно время даже собирался жениться на сестре графини Долли. Сам принц Вильгельм, по-видимому, передал в 1825 году Е. М. Хитрово на воспитание своего внебрачного сына, которого она привезла в Россию. Очень поэтому вероятно, что, направляя Дантеса в Россию, принц рекомендовал его не только генералу Адлербергу, но и своей доброй знакомой, графине Фикельмон, а та, действительно, в какой-то мере помогла его первым светским успехам. Она же, по словам Аммосова, представила барона Жоржа императрице.

Ничего предосудительного в этом, конечно, не было. Не могла же Фикельмон в самом деле предвидеть в конце 1833 или начале 1934 года, что Дантес станет убийцей Пушкина... Винить себя графине было не в чем, но все же, вероятно, она с тяжелым чувством вспоминала о своих хлопотах...

О посланнике Геккерне в связи с дуэльной историей Дарья Федоровна упоминает очень глухо. По ее словам, Пушкин обвинил Геккерна в сообщничестве с Дантесом «...и вызвал его в весьма оскорбительных выражениях». Последнее, как мы знаем, неверно. Письмо Пушкина, действительно, было таково, что кровавая развязка стала неизбежной, но вызова оно не содержало. В заключительном абзаце, составленном не раньше, чем через два с половиной месяца после основного текста, Дарья Федоровна говорит о том, что общественное мнение осыпало Геккерна-отца «упреками и проклятиями» и он, попросив об отозвании, «покинул Россию — вероятно, навсегда». Вот и все — ни слова о подлинной роли Геккерна-отца в дуэльной истории, ни о своем отношении к нему.

Снова досадное умолчание, причины которого объяснить не беремся. Ведь не постеснялась же графиня Фикельмон, как мы уже упомянули, назвать в том же дневнике Геккерна, коллегу мужа по дипломатическому корпусу, шпионом министра иностранных дел Нессельроде, а царя — деспотом за его расправу с побежденными поляками. Почему на сей раз она пишет со сдержанностью подцензурной журналистки — непонятно... Между тем о подлинной роли Геккерна Фикельмон несомненно знала многое, а эта роль и до сих пор остается одной из загадок дуэльной драмы.

Дарье Федоровне не могло не быть известно, почему общественное мнение осыпало голландского посланника «упреками и проклятиями». Его обвиняли, как обвинял и Пушкин, в составлении диплома-пасквиля и в сводничестве. Геккерн энергично защищался и в письмах к министру иностранных дел Нессельроде доказывал нелепость этих обвинений. Надо сказать, что в отношении диплома он, судя по всему, был прав. Пасквиль в то время был понят всеми, как намек на связь Пушкиной с Дантесом, и не мог же Геккерн не сознавать, что рассылка его неизбежно приведет к дуэли. Вряд ли можно согласиться и с предположением Щеголева о том, что Геккерн мог быть причастен к составлению диплома, направленного по «царственной линии». Опытный дипломат, к тому же очень дороживший своим местом, никогда бы не решился на подобную проделку, оскорбительную для монарха, при котором он был аккредитован. Об отличной осведомленности русского III отделения он, прожив в Петербурге четырнадцать лет (с 1823 года), надо думать, тоже имел ясное представление.

Судя по всем данным, Геккерн — человек злой, аморальный, но несомненно умный. Подлость он сделать мог,

вопиющую глупость — нет... И все же в результате дуэли своего насиженного места он лишился, лишился с большим скандалом. Оставаться посланником в России после гибели Пушкина приемный отец убийцы, конечно, не мог. Так считали и его коллеги по дипломатическому корпусу. Однако будь он лично ни в чем не виноват, ему бы предоставили возможность уехать с почетом. Между тем, Николай I, который, конечно, был очень хорошо осведомлен обо всем этом деле, нанес голландскому посланнику несомненное оскорбление. Он отказался дать ему аудиенцию и прислал табакерку, положенную по обычаю послам, окончательно покидающим свой пост, хотя официально барон уезжал только в отпуск. Этим дело не ограничилось. В письме к принцу Вильгельму Оранскому, в то время наследнику Нидерландского престола (он был женат на сестре Николая I), царь, очевидно, так отозвался о посланнике, что, вернувшись на родину, Геккерн не получил никакого нового назначения и пять лет находился не у дел. В письме к брату, великому князю Михаилу Павловичу, от 3 февраля 1837 года Николай I охарактеризовал Геккерна с предельной резкостью: «...он точно вел себя как гнусная каналья. Сам сводничал Дантесу в отсутствие Пушкина, уговаривая жену его отдаться Дантесу...» Далее царь говорит, что «...когда после первого вызова на дуэль Дантеса Пушкиным Дантес вдруг посватался к сестре Пушкиной; тогда жена Пушкина открыла мужу всю гнусность поведения обоих (Геккернов), быв во всем совершенно невинна».

Переходим теперь к роману Пушкиной и Дантеса в изображении графини Фикельмон.

По словам Фикельмон, «он (Дантес) был влюблен в течение года, как это бывает позволительно всякому молодому человеку, живо ею восхищаясь, но ведя себя сдер-

жанно и не бывая у них в доме». Период такой «приличной влюбленности» Дантеса, по-видимому, примерно совпадает с календарным 1835 годом.

Барон Фризенгоф сообщил впоследствии племяннице, что «Дантес... вошел в салон вашей матери, как многие другие офицеры гвардии, которые в нем бывали». Вряд ли это верно.

Есть и другие поздние упоминания о том, что Дантес бывал гостем Пушкиных, но они мало надежны. Поверим скорее записи Фикельмон, сделанной, во всяком случае, вскоре после дуэли, а не полвека спустя.

В дальнейшем, по словам Фикельмон, «...в более тесном дружеском кругу он стал более открыто проявлять свою любовь (...).

Наконец все мы видели, как росла и увеличивалась эта гибельная гроза. То ли одно тщеславие г-жи Пушкиной было польщено и возбуждено, то ли Дантес действительно тронул ее сердце, как бы то ни было, она не могла больше отталкивать или останавливать проявления этой необузданной любви».

Если графиня пишет искренне (в чем, на наш взгляд, можно сомневаться), то чувства Натальи Николаевны для нее неясны — то ли... то ли...

Однако уже 5 февраля 1836 года светская барышня, фрейлина М. К. Мердер, видевшая Пушкину и Дантеса на балу у княгини Бутера, записывает в дневнике: «...они безумно влюблены друг в друга». Вряд ли превосходная наблюдательница Фикельмон не замечала того же самого.

В данное время мы располагаем первоклассной важности документами, которые вносят полную ясность в вопрос об отношениях Пушкиной и Дантеса.

В 1946 году талантливый французский писатель Анри

Труайа[1] опубликовал в своей двухтомной книге о Пушкине найденные им в архиве Дантеса-Геккерна два письма барона Жоржа к своему приемному отцу, находившемуся в то время в отпуску за границей. Письма датированы 20 января и 14 февраля 1836 года. Подлинность их не подлежит сомнению.

В первом письме Дантес впервые признается приемному отцу в том, что он «безумно влюблен». Фамилии Пушкиной он не называет, боясь, что письмо «может затеряться», но прибавляет: «...вспомни самое прелестное создание в Петербурге и ты будешь знать ее имя. Но всего ужаснее в моем положении то, что она тоже любит меня и мы не можем видеться до сих пор, так как муж бешено ревнив (...)». Дантес умоляет Геккерна не делать «....никаких попыток разузнавать, за кем я ухаживаю, ты ее погубишь, не желая того, а я буду безутешен».

Тщетная предосторожность влюбленного! Как раз в это время фрейлина Мердер делает свою запись и, конечно, не она одна догадывается о чувствах влюбленной пары.

Еще интереснее второе письмо. Дантес рассказывает о своем объяснении с Пушкиной, которую он, судя по контексту письма, уговаривал «нарушить ради него свой долг». Наталья Николаевна ответила: «...я люблю вас так, как никогда не любила, но не просите у меня никогда большего, чем мое сердце, потому что все остальное мне не принадлежит, и я не могу быть счастливой иначе, чем уважая свой долг, пожалейте меня и любите меня

---

[1] Псевдоним русского выходца, армянина по национальности, Тарасова. После революции он был вывезен мальчиком во Францию и сделал там большую литературную карьеру. Недавно Анри Труайа избран в число 40 «бессмертных», как называют членов Французской Академии.

всегда так, как вы любите сейчас, моя любовь будет вашей наградой...»

Я вас люблю (к чему лукавить?),
Но я другому отдана...

Легкомысленная, как все считали, Наталья Николаевна в роли Татьяны-княгини... Неизвестно, выдержала ли она эту роль до конца, но в начале 1836 года, несомненно, хотела выдержать.

Находка Труайа показывает, сколько еще неожиданностей таит дуэльная история. Весьма возможно, что, если со временем будут опубликованы дальнейшие новые материалы, исследователям придется отказаться от ряда, казалось бы, прочно установленных взглядов. И несомненно прав М. А. Цявловский, говоря: «В искренности и глубине чувства Дантеса к Наталии Николаевне, на основании приведенных писем, конечно, нельзя сомневаться. Больше того, ответное чувство Наталии Николаевны к Дантесу теперь тоже не может подвергаться никакому сомнению».

Дантес действительно «тронул и смутил ее сердце», как с оговорками допускала Фикельмон, но и чувства барона Жоржа были гораздо серьезнее, чем считалось до сих пор...

Итак, в январе-феврале 1836 года, за год до дуэли, влюбленный кавалергард вел себя очень осторожно (ему, по крайней мере, так казалось) и даже в письмах к отцу боялся назвать имя любимой им женщины. Не совсем понятно, почему осмотрительный и, как будто, до поры до времени весьма деликатный барон Жорж через несколько месяцев резко изменил свою линию поведения. По словам Фикельмон, «...он стал более открыто прояв-

лять свою любовь». Посмотрим, что кроется за этим дипломатическим выражением жены дипломата.

Необходимо предварительно немного остановиться на хронологии событий и топографии местности. Лето 1836 года Пушкины провели на даче на Каменном Острове (с середины мая и до второй половины августа). 23 мая Наталья Николаевна родила дочь Наталью. Кавалергарды летом стояли в лагере в Новой Деревне и вернулись в казармы 11 сентября.

От Каменного Острова до Новой Деревни недалеко. Если верить позднему (1887 год) рассказу князя А. В. Трубецкого, Лиза, горничная Пушкиных, часто приносила Дантесу записки Натальи Николаевны. Сам кавалергард будто бы ездил на дачу к Пушкиным, а все подробности своего романа с женой поэта разбалтывал товарищам-офицерам. Рассказ старика Трубецкого о событиях полувековой давности полон неточностей и анахронизмов, но зерно правды в нем есть. Поведение Дантеса в это время было далеко не рыцарским. Его товарищи по полку, по-видимому, искренне считали Наталью Николаевну любовницей своего однополчанина (сам Трубецкой этого не говорит).

Д. Ф. Фикельмон подтверждает давно известные рассказы о том, что влюбленная в Дантеса Екатерина Николаевна «старалась учащать возможности встреч с Дантесом», при чем «не подумала о том, что может из-за этого произойти для ее сестры». По другим сведениям, ее не раз видели вместе с Натальей Николаевной и Дантесом в аллеях Летнего Сада, что, конечно, обращало на себя внимание. Письма Дантеса к приемному отцу показывают, что до 1836 года о таких прогулках втроем не могло быть и речи. Вряд ли беременная Наталья Николаевна появлялась в Летнем Саду весной 1836 года,

незадолго до родов. Скорее эти неосторожные встречи происходили в сентябре, после возвращения кавалергардов из лагеря. В это время Летний Сад чудесно красив, а погода обычно стоит хорошая.

Как далеко зашли отношения Пушкиной и Дантеса, сказать невозможно. Подозрение в нарушении супружеской верности с Натальи Николаевны вряд ли может быть снято, но доказательств нет.

Придется все же по этому поводу сделать некоторые отступления.

Недавно выяснилось, что князь А. В. Трубецкой был не только полковым товарищем Дантеса, но и очень близким другом императрицы Александры Федоровны (и только ли другом?..). В ее интимной переписке с ближайшей приятельницей, графиней С. А. Бобринской, он «засекречен» и именуется «Бархатом». 4 февраля 1837 года царица пишет: «Итак, длинный разговор с Бархатом о Жорже. Я бы хотела, чтобы они уехали, отец и сын.— Я знаю теперь *все* анонимное письмо, *подлое* и вместе с тем отчасти *верное*».

Эмма Герштейн, опубликовавшая этот документ, дает ему весьма многозначительное объяснение по «царственной линии». На наш взгляд, дело обстояло много проще. Кавалергард рассказал своей коронованной приятельнице (будем скромны), что отношения Дантеса и Натальи Николаевны зашли далеко, но в связи они не были.

В конце концов важно то, что оба влюбленных вели себя в последние преддуэльные месяцы крайне неосторожно. В записи Фикельмон речь, несомненно, идет об осени и зиме 1836 года. По ее словам, поведение Дантеса (еще до женитьбы на Е. Н. Гончаровой) было нарушением всех светских приличий, а сама Наталья Николаевна «бледнела и трепетала под его взглядами». Мы склон-

ны думать, что слабохарактерная женщина, в начале года искренне хотевшая подражать Татьяне-княгине, теперь не могла подавить в себе страстного увлечения кавалергардом.

Фикельмон считает, что Пушкин в это время совершал большую ошибку, позволяя красавице-жене одной бывать в свете, а Наталья Николаевна допускала «большую, ужасную неосторожность», давая мужу во всем отчет и пересказывая слова Дантеса. Да, Дарья Федоровна на этот счет, видимо, была поопытнее, и графу Шарлю-Луи не приходилось страдать от ее излишней откровенности... Можно, однако, усомниться в том, что Наталья Николаевна действительно передавала Пушкину все. И вряд ли, например, он знал, что в своих записках его жена обращается к кавалергарду на «ты» (надо заметить к тому же, что по-французски «ты» звучит много интимнее, чем по-русски).

Неладно было в семье Пушкиных в 1836 году. Это замечали многие. Графиня Долли вместе с другими друзьями поэта всячески выгораживает Наталью Николаевну. Уверяет даже, что, по крайней мере раньше, она «веселилась без всякого кокетства». В этом отношении она несомненно исполняет предсмертный завет Пушкина, желавшего, чтобы современники и потомки считали его жену невинной жертвой. Вряд ли только сама Фикельмон верит в ее полную невиновность.

И — снова приходится повторить: к сожалению, она лишь очень глухо говорит о времени непосредственно перед получением пасквиля: «семейное счастье уже начало нарушаться...» В чем же выражалось это нарушение? По некоторым сведениям, Пушкин начал сомневаться в верности Натальи Николаевны. С другой стороны — из печальной песни слова не выкинешь: по-

видимому, именно в эти преддуэльные месяцы разыгрывается его роман со свояченицей, Александрой Николаевной, о котором тоже осталось немало свидетельств. Щеголев, правда, считает, что «...история с Александриной никакого отношения к дуэли Пушкина с Дантесом не имеет». На наш взгляд с этим согласиться нельзя. По всему судя, в роковые месяцы поэт совершенно потерял власть над женой, которая, по понятиям того времени, ему неотъемлемо принадлежала. Рассорившись с тещей, он писал ей 26 июня 1831 года: «...обязанность моей жены — подчиняться тому, что я себе позволю. Не восемнадцатилетней женщине управлять мужчиной, которому 32 года».

Теперь о подчинении и речи нет. Пушкин стал как бы наблюдателем своей собственной драмы. В чем же причина этой странной пассивности? Почему Наталья Николаевна может не считаться с волей мужа?

Есть основания предполагать, что Пушкина знала о романе, который разыгрывался в ее доме. Трудно поверить, чтобы она не замечала того, что бросалось в глаза посторонним людям. А если эта грустная история не являлась для нее тайной, то значит в ее руках была карта, против которой поэт был бессилен.

Об отношениях супругов Пушкиных в преддуэльные месяцы мы знаем очень немного. Думаю поэтому, что будет небезынтересно привести здесь запись моего разговора с покойной княгиней Антониной Михайловной Долгоруковой, женой бывшего члена Государственной Думы князя Петра Дмитриевича Долгорукова, сделанную в Праге через несколько часов после нашей беседы. С А. М. Долгоруковой я был знаком почти двадцать лет и знал ее благоговейное отношение к памяти Пушкина. Она несомненно ничего не выдумала. Вот текст

записи, оригинал которой хранится в Рукописном отделении Пушкинского Дома.

«31 мая 1944 княгиня Антонина Михайловна Долгорукова сообщила мне, Николаю Алексеевичу Раевскому, что в 1908 году в Москве к ней явился внук П. В. Нащокина, тогда еще молодой человек, и предложил ей купить пачку писем Пушкина к его деду[1]. Княгиня Долгорукова видела письма, но не прочла их. Из чувства щепетильности не хотела покупать чужой интимной переписки.

По словам внука Нащокина:

1. Александра Николаевна Гончарова сыграла большую роль в семейных неурядицах поэта.

2. Она жила с Пушкиным.

3. Наталья Николаевна знала о связи и у нее не раз происходили бурные сцены с мужем. С Пушкиным при этом случались истерики и он плакал.

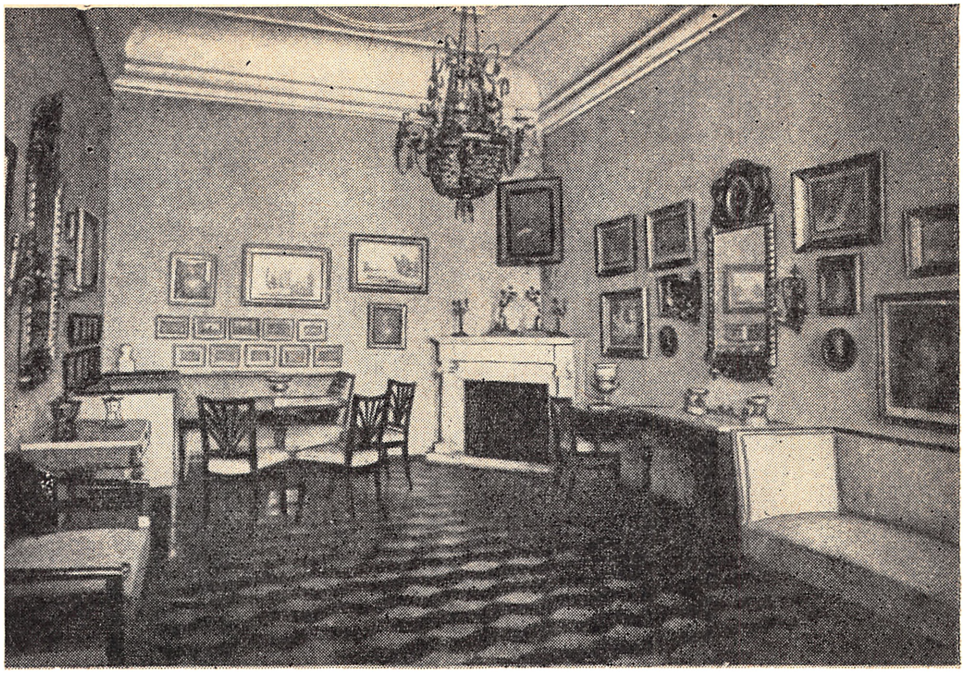
4. Александра Николаевна будто бы открывала глаза поэту на отношения Натальи Николаевны с Дантесом.

5. Когда Пушкин умирал, у Александры Николаевны происходили якобы резкие столкновения с сестрой. Она почти не подпускала ее к мужу, сама ухаживала за ним и вообще держала себя хозяйкой. (Все до сих пор известные материалы говорят обратное).

Княгиня А. М. Долгорукова оставляет рас-

---

[1] В 1917 году известные письма Пушкина к егу другу Павлу Воиновичу Нащокину принадлежали графу Шереметеву. Мне не удалось выяснить, как и когда они к нему попали.



Одна из комнат Теплицкого замка.

сказ всецело на ответственности внука Нащокина, но уверена в том, что суть его передана правильно.

Н. Раевский

Ночь 31/V—1/VI-1944 г. Прага».

Пункт пятый записи, несомненно, неверен в отношени ухода за раненым Пушкиным. Зато Александра Николаевна, надо думать, действительно всем распоряжалась, так как жена поэта была в состоянии близком к безумию. Все остальное содержание рассказа очень похоже на правду. Сведения, сообщенные внуком Павла Воиновича, содержались, конечно, не в письмах, предложенных на продажу, а являлись семейным преданием. В 1908 году оно, надо заметить, было очень свежим, так как вдова Нащокина, Вера Александровна, хорошо знакомая с Пушкиным в течение последних лет его жизни, скончалась всего лишь восемью годами раньше — в 1900 году.

Недавно М. Яшин подверг подробной критике вопрос о романе Пушкина и Александры Николаевны. Он старается доказать, что все свидетельства современников по данному вопросу не заслуживают доверия. Думаем, однако, что это не так. Рассказ внука Нащокина показывает, что и ближайший друг поэта знал о последнем увлечении Пушкина.

Вернемся теперь к записи Фикельмон. По-видимому, текст пасквильного диплома ей остался неизвестен. Один экземпляр его (в запечатанном конверте, адресованном Пушкину и вложенном в другой конверт с адресом получателя) был прислан и Елизавете Михайловне Хитрово. Ничего не подозревая, она переслала диплом поэту. Другие его друзья были осторожнее и вскрыли конверты.

Как мы знаем, в дипломе имена названы не были. Быть может, впрочем, Фикельмон основывалась на содержании ответного письма Пушкина к ее матери, которое до нас не дошло. По достоверному рассказу графа В. А. Соллогуба, Пушкин прочел ему это письмо в самый день получения пасквиля. В нем говорилось о том, что диплом — это мерзость, направленная против Натальи Николаевны, но никакое подозрение ее коснуться не может[1].

Несравненно интереснее непосредственные наблюдения и оценки Дарьи Федоровны. В ее глазах дуэльная история — чисто семейная драма Пушкина, которая получила большое общественное значение благодаря огромной популярности поэта. О враждебном отношении к нему значительной части высшего общества, которое она порой жестоко критиковала в своих дневниках, Фикельмон предпочла умолчать. Поведение Дантеса она резко порицает, но в то же время утверждает, что в глазах большого света оно «было верным доказательством невинности г-жи Пушкиной». Надо сказать, что это соображение не лишено основания. Осенью 1836 года Дантес действительно вел себя скорее как потерявший голову влюбленный, а не как осторожный любовник. Однако — и это лишний раз свидетельствует о проницательном уме графини — Фикельмон утверждает, что для Пушкина было важно не мнение высшего общества, а то, что «десятки других петербургских обществ, гораздо более значительных в его глазах, потому что там были его друзья, его сотрудники, и, наконец, его читатели, считали ее виновной и бросали в нее каменья».

---

[1] Возможно, однако, что кроме диплома Пушкин получал какие-либо анонимные письма конкретного содержания.

Графиня лишь кратко упоминает о том, что неожиданное сватовство Дантеса, внезапно сделавшего предложение Екатерине Николаевне Гончаровой, чрезвычайно удивило светское общество. О причине, побудившей барона Жоржа жениться на сестре Пушкиной, она не говорит ничего.

Барон Фризенгоф в письме племяннице сообщает со слов Александры Николаевны:

«Молодой Геккерн принялся тогда притворно ухаживать за своей будущей женой, вашей теткой Катериной; он хотел сделать из нее ширму, за которой он старался достигнуть своих целей. Он ухаживал за обеими сестрами сразу. Но то, что для него было игрою, превратилось у вашей тетки в серьезное чувство». По словам Фризенгофа, Пушкин, в конце концов, заявил Дантесу: либо тот женится на Катерине, либо будут драться.

Рассказ Фризенгофа о притворном ухаживанье барона Жоржа очень правдоподобен, но относительно угрозы дуэлью этого сказать нельзя: считать Дантеса трусом нет оснований, а подобная угроза неминуемо привела бы к поединку. Женился он во всяком случае не из страха перед пистолетом Пушкина.

Что же в действительности заставило его пойти на этот шаг? Пока мы этого не знаем — одна из загадочных глав дуэльной истории.

В 1924 году Л. Гроссман дал было весьма простое объяснение непонятного поступка барона Жоржа. Он обратил внимание на одну весьма неясную и странную фразу в письме Екатерины Николаевны к мужу, посланном из Петербурга в начале апреля 1837 года, и истолковал ее в том смысле, что жена Дантеса забеременела еще до свадьбы.

Загадка остается загадкой, хотя попытки ее разрешить продолжаются и в наши дни.

Очень интересно упоминание Фикельмон о том, что Наталья Николаевна ревновала сестру к Дантесу и отважилась говорить об этом с мужем. В недавно опубликованном письме С. Н. Карамзиной к брату от 20-21 ноября 1836 года тоже есть многозначительные строки: «Натали нервна, замкнута и, когда говорит о замужестве сестры, голос ее прерывается».

Наталья Николаевна ревнует, но так ли она наивна и проста, как считает Фикельмон? Нам думается, что нет. Если семейное предание Нащокиных действительно справедливо и Пушкина действительно знала о романе мужа с Александрой Николаевной, то она могла в любую минуту заговорить о нем...

Повествуя о романе Пушкиной и Дантеса, Дарья Федоровна говорит: «...все мы видели, как росла и увеличивалась эта гибельная гроза». Все видели, но далеко не все понимали, как понимала Фикельмон, что перед ними разыгрывается драма поэта. Семья Карамзиных — давние и близкие друзья поэта. Все они любят Пушкина, как человека, и чтут его гений, но к его семейным делам Карамзины относятся совершенно иначе, чем графиня Долли. В особенности характерны письма дочери историка, Софьи Николаевны. Приведем из них несколько выдержек:

«Вяземский говорит, что он (Пушкин) выглядит обиженным за жену, так как Дантес больше за ней не ухаживает».

«...Пушкин продолжает вести себя самым глупым и нелепым образом; он становится похож на тигра и скрежещет зубами всякий раз, когда заговаривает на эту тему, что он делает весьма охотно, всегда радуясь

каждому новому слушателю. Надо было видеть, с какой готовностью он рассказывал моей сестре Катрин обо всех темных и наполовину воображаемых подробностях этой таинственной истории, совершенно так, как бы он рассказывал ей драму или новеллу, не имеющую к нему никакого отношения».

«Словом, это какая-то непрестанная комедия, смысл которой никому хорошенько не понятен; вот почему Жуковский так смеялся твоему старанию разгадать его, попивая кофе в Бадене».

Александр Николаевич Карамзин, бывший шафером Е. Н. Гончаровой, писал: «Неделю тому назад сыграли мы свадьбу барона Эккерна с Гончаровой (...). Таким образом кончился сей роман *á la Balzac*[1], к большой досаде петербургских сплетников и сплетниц».

Тирадам насмешливой барышни можно было бы не придавать серьезного значения, но из ее писем мы узнаем, что смеялась не одна она. Подтрунивал над Пушкиным Вяземский, и даже Василий Андреевич Жуковский, только что с великим трудом уладивший дело с первым вызовом, находил повод к смеху. Насмешливое отношение к этой странной истории чувствуется и в письме Александра Николаевича Карамзина.

Когда поэта не стало, все, конечно, перестали смеяться. Глубоко и искренне было горе друзей Пушкина. Но все это было после катастрофы, а когда она готовилась, многие и многие близкие Пушкину люди, в противоположность прозорливой Фикельмон, видели в том, что происходило, не трагедию, а комедию или, в лучшем случае, трагикомедию...

---

[1] В стиле Бальзака.

Еще до рассылки диплома, наблюдая обращение Дантеса с Натальей Николаевной на светских собраниях, графиня заметила, что барон решил «довести ее до крайности». Надо сказать, что французское выражение, которое она употребила, применяется охотниками за крупной дичью в смысле «загнать», «довести до изнеможения».

Позднее, перед самым поединком, странное и тяжелое впечатление производило в обществе поведение всех главных действующих лиц дуэльной драмы. С. Н. Карамзина потом горько сожалела о том, что так легко отнеслась к «этой горестной драме», но для нас все же ценны ее наблюдения в один из последних вечеров жизни поэта (24 января):

«В воскресенье у Катрин[1] было большое собрание без танцев: Пушкины, Геккерны (которые продолжают разыгрывать свою сентиментальную комедию к удовольствию общества). Пушкин скрежещет зубами и принимает свое всегдашнее выражение тигра. Натали опускает глаза под жарким и долгим взглядом своего зятя,— это начинает становиться чем-то большим обыкновенной безнравственности; Катрин (Екатерина Николаевна Геккерн) направляет на них обоих свой ревнивый лорнет, а чтобы ни одной из них не оставаться без своей роли в драме, Александрина по всем правилам кокетничает с Пушкиным, который серьезно в нее влюблен и если ревнует свою жену из принципа, то свояченицу — по чувству. В общем все это очень странно, и дядюшка Вяземский утверждает, что он закрывает свое лицо и отвращает его от дома Пушкиных».

---

[1] Княгиня Екатерина Николаевна Мещерская, урожденная Карамзина.

В записи Фикельмон мы не находим таких зарисовок, но она считает, что именно наглое поведение Дантеса послужило непосредственным поводом к дуэли.

Дарья Федоровна лишь описывает факты, но не дает их объяснения. Его мы находим в письме барона Фризенгофа, причем на этот раз он говорил лично от своего имени (не надо, однако, забывать, что письмо было целиком проверено и одобрено Александрой Николаевной): «...Геккерн продолжал демонстративно восхищаться своей новой свояченицей; он мало говорил с ней, но находился постоянно вблизи, почти не сводя с нее глаз. Это была настоящая бравада, и я лично думаю, что этим Геккерн намерен был засвидетельствовать, что он женился не потому, что боялся драться, и что если его поведение не нравилось Пушкину, он готов был принять все последствия этого».

Это объяснение очень правдоподобно. Своей непонятной женитьбой Дантес поставил себя в глазах общества в ложное и унизительное положение. Вероятно, многие подозревали, что блестящий кавалергард действительно струсил и женился, чтобы избежать поединка. К сожалению, и Пушкин, как показывает его письмо к посланнику Геккерну, вызвавшее дуэль, держался того же взгляда и вряд ли хранил его в тайне: «...я заставил вашего сына играть роль столь жалкую, что моя жена, удивленная такой трусостью и пошлостью, не могла удержаться от смеха...»— писал он Геккерну-отцу.

Развязка приближалась.

Бал, о котором упоминает Фикельмон, состоялся у обер-церемониймейстера графа Ивана Илларионовича Воронцова-Дашкова 23 января, накануне приема у Мещерских. Барон Фризенгоф описал то же происшествие в следующих выражениях: «В свое время мне рассказы-

вали, что поводом послужило слово, которое Геккерн бросил на одном большом вечере, где все присутствовали; там был буфет, и Геккерн, унося тарелку, которую он основательно наполнил, будто бы, сказал, напирая на последнее слово: это для моей *законной*. Слово это, переданное Пушкину с комментариями, и явилось той каплей, которая переполнила чашу».

25 января поэт послал голландскому посланнику роковое письмо.

Существует и другая версия «последнего толчка», которую принимает П. Е. Щеголев. Она восходит к самой Наталье Николаевне и впервые была изложена в воспоминаниях ее дочери от второго брака, А. П. Араповой, в 1907—1908 годах. Года за три до смерти Н. Н. Ланская рассказала все подробности дуэльной истории воспитательнице своих детей. По ее словам, поводом к дуэли послужило свидание, которое Дантес выпросил у нее, уже будучи женатым. Свидание состоялось на квартире приятельницы Натальи Николаевны Идалии Григорьевны Полетики и было будто бы «столь же кратко, сколь невинно». Пушкин узнал о нем на другой же день из анонимного письма и решил: быть поединку.

Факт свидания не подлежит сомнению, но дата его остается неизвестной. Возможно, что Пушкин узнал о нем непосредственно перед балом у Воронцовых-Дашковых. Тогда обе версии друг другу не противоречат — поведение Дантеса 23 января только усилило разгоравшийся гнев Пушкина. Во всяком случае, рассказ Фикельмон, непосредственной свидетельницы, несомненно, ценен и заслуживает внимательного исследования, как и все ее повествование о преддуэльных месяцах.

Наоборот, как справедливо указывает Е. М. Хмелев-

ская, «вторая часть дневника, где говорится о дуэли и смерти Пушкина не представляет большого интереса». Дарья Федоровна, как мы уже упоминали, говорит с чужих слов, при чем главным ее информатором, говоря современным языком, является В. А. Жуковский. Краткое описание поединка, которое она дает, в общем, соответствует истине, но ничего нового не содержит. Рассказывая о последних днях и часах поэта, Дарья Федоровна старательно, но порой не вполне точно повторяет благочестивую легенду, созданную Жуковским и другими друзьями Пушкина в интересах его жены и детей. Нового здесь почти ничего нет за исключением сообщения о том, что умирающий попросил своего секунданта Данзаса обещать не мстить за него и передать своим отсутствующим шуринам запрещение драться с Дантесом. Кроме Дарьи Федоровны никто об этих словах Пушкина не упоминает.

Мы не будем комментировать второй части записи. Сделаем исключение только для упоминания Фикельмон о том, что «несчастную жену с трудом спасли от безумия, в которое ее, казалось, влекло мрачное и глубокое отчаяние». Приведем по этому поводу выдержку из черновика малоизвестного письма В. Ф. Вяземской, адресованного, по-видимому, Е. Н. Орловой. Вяземская почти не покидала квартиры Пушкиных в те дни, когда поэт умирал. Ее наблюдения, несомненно, точны и правдивы. Описывая трагические минуты сейчас же после кончины, Вяземская говорит: «Она (Пушкина) просила к себе Данзаса. Когда он вошел, она со своего диванчика упала на колени перед Данзасом, целовала ему руки, просила у него прощения, благодарила его и Даля за постоянные заботы о ее муже. «Простите!»— вот что единственно кричала эта несчастная молодая женщина».

Ряд свидетельств говорит о том, что Наталья Николаевна потом сравнительно быстро утешилась — скорее, чем Александра Николаевна, но в этот момент, целуя руки Данзаса, она действительно была в состоянии, близком к безумию.

Ее мольбы о прощении словно обращены в века...

В самом конце своей дуэльной записи Дарья Федоровна снова становится многоопытной светской дамой: «Печальна эта зима 1837 года, похитившая у нас Пушкина, друга сердца маменьки».

Порой хочется стать современником Фикельмон и, нарушая правила вежливости, спросить: полноте, графиня, только ли маменьки?

Упоминания о Пушкине в связи с тем, что он был другом покойной матери, есть и в поздних письмах Дарьи Федоровны к сестре. Вскоре после отъезда из Петербурга она пишет: «Я хотела бы иметь гравированный портрет Пушкина в память привязанности, которую питала к нему мама» (22 октября 1846 года). «Мне показали вчера портрет Пушкина; он возбудил во мне большую нежность, напомнив мне всю его историю, сочувствие, с которым к ней отнеслась мама, и как она любила Пушкина» (3 декабря 1842 года).

О своем собственном отношении к поэту графиня, видимо, избегала упоминать даже в письмах к сестре. «Жаркая история» не забылась...

Только однажды она поставила Пушкина вровень с царями: «Пришли мне, пожалуйста, автографы для Вильнев-Транса и для меня. Прежде всего императора Николая, императора Александра, Петра Великого, Екатерины II, Марьи Федоровны, Пушкина, словом все, что

ты найдешь наиболее интересного для моего кузена[1] и для меня (...)» (13 мая 1843 года).

В письмах к сестре за 1840—1854 годы Долли Фикельмон постоянно вспоминает о своих многочисленных русских друзьях и знакомых, но только раз она упомянула о Наталье Николаевне и при том неодобрительно: «...Пушкина, как кажется, снова появляется на балах. Не находишь ли ты, что она могла бы воздержаться от этого; она стала вдовой вследствие такой ужасной трагедии, причиной которой, хотя и невинной, как никак явилась она» (17 января 1843 года).

К Дантесу Дарья Федоровна непримиримо враждебна и через пять с лишним лет после дуэли. Барон Жорж приезжал в 1842 году в гости к своему приемному отцу, назначенному в конце концов посланником в Вену. 28 ноября этого года графиня пишет: «Мы не увидим госпожи Дантес, она не будет бывать в свете и, в особенности, у меня, так как она знает, что я смотрела бы на ее мужа с отвращением».

А у русских, проживавших летом 1837 года в излюбленном тогдашней знатью Бадене, не было и тени отвращения к убийце Пушкина всего через несколько месяцев после дуэли. Они превесело проводили время вместе с высланным из России бароном Жоржем. Даже Андрей Николаевич Карамзин, с таким гневом писавший близким о дуэльной истории, помирился с Дантесом и принимал участие в этих увеселениях.

Нам остается исправить одно старинное недоразуме-

---

[1] По-видимому, речь идет о племяннике графа Фикельмона (сыне его сестры) маркизе де Транс, умершем в 1850 году, в Нанси, где скончался и его отец. Следовало бы попытаться разыскать во Франции потомков этого маркиза, так как у них мог сохраниться пушкинский автограф.

ние. В 1911 году П. И. Бартенев в рецензии на книгу писем графа и графини Фикельмон упомянул о том, что Дарья Федоровна принимала в Вене госпожу Геккерн, то есть Екатерину Николаевну. Однако соответствующее письмо помечено 20 декабря 1850 года, когда ее уже давно не было в живых (умерла в 1843 году). Видимо, публикатор неверно прочел во французском подлиннике «Madame» вместо «Monsieur», или же в текст вкралась опечатка. Речь несомненно идет о посланнике Геккерне, который оказался соседом Фикельмонов по дому и сделал графине визит. Она пишет: «...я была взволнована, снова увидев эту личность, которая мне так много напомнила. Я приняла его так, как будто все время продолжала с ним видеться, и у него был гораздо более смущенный вид, чем у меня».

Больше фамилия Геккерна в письмах не упоминается. Видимо, эта первая встреча через тринадцать лет после дуэли была и последней. В другом месте графиня Долли упоминает о том, что единственный человек в Вене, с которым она может говорить о Петербурге, это Медженис[1].

Мы попытались в двух последних главах дать характеристику Дарьи Федоровны Фикельмон и выяснить ее роль в жизни и творчестве Пушкина, разобрали ее запись о дуэли и смерти поэта.

Расставаясь теперь с этой несомненно выдающейся женщиной, сохраним о ней благодарную память. Если она и поведала нам о Пушкине много меньше, чем могла бы, то все же ее записи о поэте и его жене умны, достоверны и ценны.

---

[1] Английский дипломат, близкий приятель Фикельмон, которого Пушкин приглашал в секунданты, но Медженис отказался.

* * *

В этой небольшой книжке вкратце изложены результаты моих поисков новых материалов о Пушкине в довоенной Чехословакии. Как мог убедиться читатель, они не остались безрезультатными, хотя мои возможности были весьма ограничены. К сожалению, впоследствии обстоятельства сложились так, что ряд намеченных дальнейших изысканий не мог быть осуществлен. Но и на основании своего небольшого опыта я уверен в том, что частные архивы за границей таят еще не мало драгоценных материалов, так или иначе относящихся к Пушкину. Надо надеяться, что со временем они станут известны.

СОДЕРЖАНИЕ

Раевский Николай Алексеевич

ЕСЛИ ЗАГОВОРЯТ ПОРТРЕТЫ.

Алма-Ата, «Жазушы», 1965.
184 с.

Редактор *Попова З. В.*
Художник *Гилев Г. С.*
Художеств. редактор *Гурьев А. А.*
Технич. редактор *Вальчук П. Я.*
Корректор *Кац М. И.*

Сдано в набор 1/II-1965 г. Издат. № 96.
Подписано к печати 16/IV-65 г. УГ02365.
Бумага $70 \times 108^{1}/_{32} = 5{,}75$ п. л.—8,05 усл. п. л.
Уч.-издат. 7,64 л.). Тираж 50000 экз.
Цена 33 коп.

г. Алма-Ата, Типография № 2 Главполиграфпрома Государственного комитета Совета Министров Казахской ССР по печати.
Заказ № 131.